

СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора 3

ПРОЗА

Сергей Скрипаль

«Записки первоклассника» 16

Владимир Петров

Рассказы 76

Алла Халимонова-Мельник

«Пушкин и Оленина» 117

Денис Дымченко «Химик» 137

Вера Сытник «Марафон» 165

Евгений Шишкин

Рассказы 190

ПОЭЗИЯ

Инна Кучерова

Стихотворения 6

Владимир Голиусов

Стихотворения 13

Николай Ананьченко

Стихотворения 63

Виктор Шинковский

Стихотворения 71

Станислав Ливинский

Стихотворения 111

КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Маркелов

«Где-то есть город» 220

Алексей Кругов

«Ожившие страницы
прошлого» 267

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Алексей Кондратенко

«Слово о Василии Рослякове» ... 274



*Литературное
Ставрополье
№2 (2024)*



Главный редактор
Владимир Бутенко

© Правительство
Ставропольского края

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64
Л 64

Редакционная коллегия:

И. Аксенов, Н. Блохин, О. Воропаев,
Е. Гончарова, А. Куприн, Е. Полумискова,
С. Скрипаль

Литературное Ставрополье. Альманах № 2
Л 64 (2024). – Воронеж: ООО «Славянская Типография»,
2024. – 300 с.
ISBN 978-5-6052245-3-2

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64

Адрес редакции:

355033, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

ISBN 978-5-6052245-3-2



9 785605 224532 >

ТВОЙ ВЫБОР

Тревожен пульс Земли.
И как будто ощущая это напряжение в мире, солнце участило выбросы мощных протуберанцев, устремляющих к нашей живой планете протонные потоки. Космические магнитные бури нарушают связь в эфире, работу навигационных приборов и отрицательно влияют на здоровье жителей. Вполне вероятно, не без этой причины времена года сбились с привычного курса и в разных концах света то и дело возникают природные катаклизмы – то жуткая жара, то ливни, сопровождаемые смерчами, то неурочные холода или засуха.

Третий год длится СВО. Время испытания на прочность не только нашей армии и государства, но и духовной силы, и человечности каждого из нас. России брошен вызов западны-



**Страница
главного
редактора**



ми правителями – политическими лилипутами – и украинскими неонацистами. На карту поставлена судьба страны и российского народа, ибо речь идет о захвате и разделении земли наших предков. И, казалось бы, сознание реальной угрозы должно всех нас сплотить, объединить единой целью – стремлением к победе. Но, увы, здравомыслие иных соотечественников подводит.

Удравшие за кордон – жалкие себялюбцы. Однако трудно понять, откуда берутся среди нас манкурты, забывшие честь и славу Отчизны, которые не чтят государственный флаг и не встают, слыша гимн России, но готовы, унижаясь, на положении холопов участвовать в парижской Олимпиаде. А не кощунственно ли звучат песни на английском языке в шоу центральных телеканалов, когда в этот же час русские парни штурмуют на Донбассе позиции врага, говорящего именно по-английски?!

В очень непростых условиях, сложившихся в обществе, многократно возрастает ответственность тех, кто трудится на ниве духовного творчества. Литература и искусство не терпят суеты. Однако Союз писателей России первым из творческих организаций страны поддержал решение президента В. В. Путина начать СВО. За минувшие годы появилась плеяда талантливых поэтов и прозаиков, отражающих героическую борьбу наших воинов и широкую поддержку их россиянами – патриотами на деле. Ставропольские писатели также отозвались сборником стихов

«ПОБЕДА ЗА НАМИ!», где опубликованы произведения не только мастеров пера, но и учащихся кадетского училища. Пусть книга не велика, но это – **истинно народная книга**.

Не уныние, ожесточение и мрак должны нести сейчас произведения литераторов, а свет мужества, надежды и несокрушимой веры. Как это делал в годы Великой Отечественной войны А. Твардовский «В книге про бойца», писали в своих очерках М. Шолохов, К. Симонов, А. Фадеев.

Сущность человека проявляется в трудный час. Можно простить заблудших, но не отщепенцев, кому чужда история России и память ее героической земли. Истина эта общеизвестна и проста. Но почему о ней так часто забывают?

Библейская мудрость гласит: не суди и не судим будешь. Каждый из нас отвечает за свои поступки. Каждый сам делает выбор.

А время – рассудит и оценит тебя.

ПОЭЗИЯ ДОНБАССКОЙ ЗЕМЛИ

Инна Кучерова – известный российский поэт, журналист, прозаик, драматург, общественный деятель. Родилась в городе Красный Лиман Донецкой области УССР. Окончила Донецкий национальный медицинский университет. Лауреат многих международных и российских литературных конкурсов и премий. Работает совместно с волонтерами и журналистами России, Китая, Германии, Сербии. Принимает участие в выступлениях перед участниками СВО, наряду с российскими артистами. Живет в Донецке.



**Инна
КУЧЕРОВА**

Поэзия



Не слушай сказок Голливуда,
Где «супермен»
Под спецэффект приносит чудо
Беде взамен.
За нас с тобой стоят горою
Среди невзгод,
Простые русские герои,
Который год.
В субботу, пятницу и вторник,
Забыв про хлеб,
Берут герои и опорник,
И весь укреп.
Плывут герои через реку,
Там будет бой.
Герои платят ипотеку,
Как мы с тобой.
Не говорят о заграницах,
Чей рейтинг мним,
Лежат с ранением в больницах,
Ближайших к ним.
Здесь смысла нет вести дебаты,
Давать огня,
Простые русские солдаты –
Герои дня.

Считайте это полной ерундой,
Не стоящей ни прозы, ни стихов,
С баклажками я вышла за водой,
Забыв про макияж и шлейф духов.

У маленького водного ларька
Уже толклись такие же, как я,
Чья участь в этот день была горька –
Искать любую жидкость для питья.

Была б в Донецке лютая зима,
Когда лежит повсюду белый снег,
Его б тащили вёдрами в дома,
И там топили сутками для всех.

Считайте это полной ерундой,
Не стоящей стихов и к ним наград.
С баклажками я вышла за водой
И вспомнила блокадный Ленинград.

Город без воды и отопления
Жив назло декабрьским холодам,
Наши переходят в наступление,
И теснят врага по всем фронтам.

Сунув в вещмешок рисунки детские,
Крикнет доброволец Иванов:
«Мёрзнут под обстрелами донецкие»,
Снова поторопит пацанов.

Зная всю серьёзность положения,
Парни, как один, ускорят шаг,
Их победоносное движение
К полночи земной раскрутит шар,

И меридианы с параллелями
Станут на мгновение видны,
К жёнам, что не спят над колыбелями,
Тёплые придут под утро сны.

Души их получают исцеление
Прямо посреди пустых квартир,
Город без воды и отопления
Жив огромной верой в скорый мир.

Зима на фронте. Местность незнакома,
Но греет руки в блиндаже худом
Окопная свеча теплом из дома,
Пусть в сотнях километров этот дом.

Здесь нет роскошной скатерти из шёлка,
И скромен в поле ужин и обед,
Свечой согреты чайник и тушёнка,
И дыма от неё почти что нет.

Такая мелочь, но она весома,
И каждый понимает вновь и вновь:
Окопная свеча – тепло из дома,
Тепло и бесконечная любовь.

На войне женихи, чьи-то братья,
(без войны не бывать и столетью),
И становятся белые платя
По зиме маскировочной сетью.

Долетают боёв отголоски,
И дрожащие девичьи руки
Распускают их все на полоски,
Позабыв про душевные муки.

Покрывают блиндаж благодатью
Не заметной приборам и глазу,
Эти белые-белые платя,
Не надетые в жизни ни разу.

Будут позже цветы и объятия,
И родятся когда-нибудь дети,
А пока подвенечные платя,
Превращают невесты в масксети.

Не боясь ПВО, ничего не боясь,
Первый снег упадёт на окопную грязь,
И она засияет под небом войны,
И на снег побегут посмотреть пацаны,
И опять им как будто одиннадцать лет,
И в кармане на ёлку заветный билет,
Мандарины припрятаны мамой в шкафу
На глазах у кота, что залез под софу.
Но не санки, а танки поедут вперёд,
Разрушая едва закрепившийся лёд,
И вздохнут пацаны: «вот бы этой зимой
Непременно вернуться живыми домой»...

Здесь мир непостоянный,
На холме, в лесу, в степи,
Спи, солдатик безымянный,
Где убило, там и спи.

Утро, вечер ли туманный,
В шуме, в полной тишине,
Спи, солдатик безымянный,
На озёрном гладком дне.

Божьим светом осиянный,
Претерпевший до конца,
Спи, солдатик безымянный
На ладони у Творца.

В трёх километрах от меня...
Стою, молюсь и жду трамвая
На склоне гаснущего дня.
Война. Декабрь. Передовая
В трёх километрах от меня.
Я слышу, как грохочут пушки,
Перебивая автомат,
«Урал» завёлся на опушке,
Увозит в госпиталь ребят.
И если звуки долетают
Ко мне морозною зимой,
На том конце войны, я знаю,
Услышат тоже голос мой!
Донецк за вами, дорогие!
Свою тревогу не тая,
За вами мама и Россия,
Большая дружная семья!
Вы все – герои! Вы – элита!
Вы новой истины исток!
В вас вера крепче монолита,
Всё потому, что с вами Бог!
Стою, молюсь и жду трамвая
На склоне гаснущего дня.
Война. Декабрь. Передовая
В трёх километрах от меня...

Владимир Голиусов – член
Международного союза писа-
телей и мастеров искусств
Украины, России и Беларуси,
автор нескольких поэтиче-
ских и прозаических сборни-
ков, вышедших в Донецких
издательствах с 2002 по
2012 годы. В книге «Грустит
душа о небесах» автор, поми-
мо стихов, опубликовал под-
борку прозаических произве-
дений.

**Владимир
ГОЛИУСОВ**

Поэзия

НА ПЛАВУ

Мы не вместе, опять уезжаю.
Выпал жребий скитальческий
мне.
Я вернусь, только даты –
не знаю.
Приплыву на попутной волне.
За спиною останутся горы,
Их Уральскими гордо зовут.
И замолкнут гудки и моторы,
Что в Сибирь стройотряд
уведут.



Ни к чему снова спорить с судьбою, –
Не обманут в беде взгляд и слух...
Но хочу быть вновь рядом с тобою,
Чтобы в сердце огонь не потух.
Запасусь я мечтой и терпеньем,
Удержусь на плаву, на кругу.
И любви заревое горенье
Не отдам на потребу врагу.

ВСТРЕЧА

Приезжаю в село ныне редко.
Встречи эти совсем мне не в радость.
И калитка скрипит там, и ветка,
А с завалинки кашляет старость.
Тополя уж в печи истопили,
Что меня провожали, встречали.
Сад любимый – в расцвете и силе –
Поредел и засох от печали.
Дом безлюден. Но кажется снова
Бродит детство моё за углами...
И стоим на ветру мы суровом –
Я и хата с немymi устами...

УТРО

От поднявшегося солнца
В летних утренних лесах
Тени-призраки хоронятся
В травах, где горит роса.

Пламенеют на сугреве
Маки, словно в дивном сне.
Соловьиные напевы
Не смолкают в тишине.
Отряхнувши ночи тяжесть,
Распрямляются стволы.
Так порою память вяжет
Очень крепкие узлы.

* * *

Что было в бокале – испито.
А юность отпела давно.
Но снова тот жажду напиток, –
Налейте в бокал мне вино!

Мы чувства порою скрываем,
Что будят волнующе кровь...
Да, счастья сильнее не бывает,
Чем первая в жизни любовь!

Того несказанного счастья,
Когда тонешь в милах глазах,
Когда ты безумен от страсти,
Забыв все запреты и страх.

Что было в бокале – испито.
Любовь, словно дым, унесло.
Подайте в бокале напиток,
Чтоб стало душе весело!

ЗАПИСКИ ПЕРВОКЛАСНИКА

Повесть

В жизни немало разочарований, что делать. Самое неожиданное врезало под дых 1 сентября 1967-го года.

В кино, в журнале «Мурзилка», в мультфильмах, на плакатах показывали одно, а на самом деле, увы!

Так хотелось побыстрее сесть за парту, откинуть крышку, положить аккуратно ручку с пером в специальную выемку, поставить чернильницу в неглубокий проём, сложить руки, выпрямить спину и внимать учителю, и смотреть на доску, и впитывать, впитывать, впитывать знания.

По большому счёту так и случилось, если бы ни одно существенное «но».

Крышки парт оказались выкрашены в легкомысленный цвет капустного листа, при этом нижняя часть всё ещё



**Сергей
СКРИПАЛЬ**

Проза



была коричневого классического цвета. Где, вот именно каждого из вас спрашиваю, где торжественность и строгость чёрных крышек? С такими крышками не забалуешь, с такими крышками и отличники легко выбиться можно было. А с этими, капустными, тьфу, да и только.

Не стал я отличником. Причина веская.

К слову сказать, школьные мифы разбивались, словно сосульки об асфальт. С таким же звяканьем и весёлыми брызгами. Например? Пожалуйста!

Чернильница непроливайка. Что скажете?

Приходилось носить такой прибор с собой в специальном мешочке, сшитом мамой. Неудобно, конечно, мешает в руках. И в портфель не положишь. Мало ли, захочется с горки на нём съехать или подраться. Всяко случается – это жизнь. Правда, истины ради, зимой чернильницу оставляли в школе, на парте, поскольку казахстанские морозы суровые, замерзали чернила в пластмассовом стаканчике.

Стоп, речь-то не об этом. Итак, легенда о непроливаемости оказалась сказкой.

Стоим с Каримкой на третьем этаже школы, на площадке у окна. И так крутим чернильницу, и этак, и на свет её поворачиваем, и наоборот от света, и близко к глазам подносим. Вот же, вот, вогнутой линзой виднеются чернила, но не вытекают, хоть ты убейся!

Свесились через перила, Каримка потряс чернильницу. Ничего. Тряханул сильнее. И ага-а-а, вот он, момент истины! Огромная фиолетовая капля вылетела наружу и устремилась вниз прямо на макушку Сеньки Лысого, хулигана из третьего «В».

– Ой! – сказал Каримка и выронил чернильницу из ослабевших пальцев.

– Ой! – повторил я.

Не дожидаясь первого взрыва негодования Сеньки, мы ринулись через третий этаж, спустились на первый с другой стороны и, сохраняя хладнокровие, сдерживая тяжёлое, после бега, дыхание, прошли в класс мимо вопящего Сеньки, с лицом в крупную чернильную кляксу. Сама чернильница, расколотая на части, лежала у ног хулигана.

На уроках я макал перо в любезно предложенную чернильницу Светки Покатигорошек. Мы с ней за одной партой сидели.

Не мог, что ли, Каримка экспериментировать со своей чернильницей?!

Как-то раз забрели с парнями-одноклассниками в школьный подвал. Случайно. Забыл, видимо, завхоз на замок закрыть тяжёлую стальную дверь. Мы и забрели сквозь узкую щель. Само получилось как-то.

В подвале полумрак, сухо, тихо. Школа послевоенной постройки. Всё надёжно и крепко. Под

укрытие строился подвал, вон и табличка «Вход в бомбоубежище». Прошли по широкому коридору в большую комнату. А там! Да, да, именно здесь руководство школы прятало от будущих отличников парты с чёрными крышками. И сами парты разных размеров: и небольшие, как у нас в классе, и размером побольше, и просто огромные, для дядек-старшекласников.

Посидели за ними, поцокали языками, погладили старые парты ладонями да и вернулись назад в класс. Не стали никому рассказывать, что видели. Грустно же. Выходит, не очень-то и нуждается школа в отличниках, раз важную деталь в подвале спрятали! Впрочем, каким-то образом отличники всё равно появлялись в школе. И в нашем классе. Да хоть Каримку возьми!

Самая большая тайна – школьный звонок. Поговаривали, что находится кнопка за семью печатями, если не под контролем самого директора школы, то уж точно под надзором тёти Маши, школьной технички. Ну, на самом деле, кому доверить такое ответственное задание – давать звонки на урок и перемену! О важности тёти Маши тоже нельзя забывать. Сами подумайте, кому доверялся колокольчик, если вдруг электричество пропало? Правильно, тётке Маше. Не учителям, не завучам, не директору, а именно ей, тётке Маше.

Даже захотелось стать, когда вырасту, уборщиком в школе, чтобы иметь доступ к тайне. Не случилось.

Каждому известно, если предмет создан, значит, он для чего-то нужен и важен. Верно ведь? Иначе для чего люди думали, изобретали, изготавливали. А ты пользуешься, добрым словом поминаешь их. И им приятно, и тебе хорошо.

Промокашки были заботливо вложены в каждую тетрадку. Хоть в клеточку, хоть в косую, хоть в широкую линейку. Ставь кляксы на здоровье, не переживай. Подумаешь, ляпнул чернила с пера! Розовой промокашечкой прижал и всё. Конечно, не начисто с листа исчезает пятно, но это не важно. Зато сразу чувствуется культура письма, душа!

Плохо, что с рук чернила промокашка не убирает совсем, так она и не для этого сделана. Вообще, мы с парнями хотели написать на тетрадную фабрику, чтобы побольше промокашек вкладывали в каждую тетрадь, не жадничали. Одной промокашки на двенадцать листов маловато. Но так и не собрались, всё некогда было. Да хоть из-за того же чистописания.

Наша учительница Екатерина Никифоровна – стопроцентно лучшая в школе была. Бесспорный факт. Не верите? Напрасно.

Она всё что хочешь умеет. Читает – заслушаешься, на доске мелом напишет – глаз не оторвать. Да что там на доске! Подойдёт, посмотрит через плечо в прописи или тетрадь на твои кара-

кули и, заметьте, стоя, из неудобного положения твоим же пером такую красоту напишет, ох. Прямо не дурацкая буква «эф» получается, а космическая ракета с Юрием Гагариным на борту. Очень красиво!

А на пальцы её посмотрите! Ни одного чернильного пятнышка, только иногда меловая пудра видна. Так и хочется свои руки под парту спрятать.

И с арифметикой всё в порядке у Екатерины Никифоровны. Как-то на продлёнке спросил у неё, мол, сколько будет семью восемь? Она улыбнулась и правильно ответила сразу же – пятьдесят шесть. Каждый бы так смог? Думаю, если бы спросил её, а сколько будет восемью семь, она бы тоже моментально ответила.

Повезло нам с Екатериной Никифоровной. Правда, строгая она на уроках, а на переменах наоборот, добрая.

В продлёнке хорошо. После уроков обед, потом прогулка. Это правильно. Надо ведь, чтобы мозги проветрились, например, после арифметики. Там примеры бывают сложные и задачи тоже.

«На выставку лучших тетрадей из первого класса взяли 70 тетрадей, из них 30 – по письму, 20 – по арифметике, а остальные по чистописанию. Сколько тетрадей по чистописанию взяли на выставку?».

На уроке решали, но не успели, Екатерина Никифоровна велела дома закончить. А зачем дома, если можно в продлёнке всем вместе подумать.

Зашли в класс после прогулки. На учительском столе пачки тетрадей на проверку. Чего проще?

Отсчитали тридцать тетрадей по письму, отложили двадцать по арифметике и в тупик зашли, сколько нужно по чистописанию.

Сложили тетради на место, тем более, что Мишка, дежуривший у дверей, сообщил о появлении в конце коридора учителя.

Ладно, мы пошли другим путём.

Собрали коробки со счётными палочками, их по десять штук в них. Разноцветные. Но цвет был не важен. Итак, семь коробок по 10 палочек – общее количество тетрадей, убрали в сторону три коробки – тетради по письму тридцать штук, в другую сторону – двадцать тетрадей по арифметике, две коробочки. Ха-ха, вот они, тетрабочки по чистописанию, двадцать штук. Даже засмеялись от удовольствия – легкотня такая!

Только вечером, перед уходом домой, я задумался, а если будет, к примеру, в задаче сто миллионов тетрадей, где столько палочек счётных возьмём?

Так и остался нерешённым этот вопрос по сию пору.

А за правильно решённую задачу мы все по пятёрочке в тетрадь получили!

Екатерина Никифоровна попросила, чтобы родители помогли с картинками для грамотности. Надо было на альбомный лист наклеить рисунок или фотографию и написать красивыми буквами нужное слово, в котором красным цветом выделить гласную букву. Чаще всего безграмотные люди именно в ней ошибаются.

Мне досталось слово «работа». Хорошее слово. Только я забыл передать просьбу. Вспомнил в воскресенье, когда родители куда-то ушли. И ничего страшного, сам справлюсь.

Нашёл в журнале «Работница» цветной снимок ткацкой фабрики, там такие здоровенные катушки и нитки от них тянутся. Сразу видно – работа кипит.

Красивыми буквами не получится написать, в этом я не сомневался. Позвонил в квартиру напротив. Там Андрюха-пятиклассник живёт, в художественную школу ходит.

Не отказал сосед. Широким пером тушью написал слово, выделил красным необходимое. Правда, буквы разного размера вышли и не совсем ровные, но так даже лучше, веселее, уверил меня сосед.

Да и правда, очень симпатично получилось.

Обидно, что Андрей то ли от неграмотности, то ли от торопливости написал «рОбота», только это уже выяснилось в школе.

Сосед очень удивился, когда я ему рассказал про ошибку в слове.

– Как же так! – возмущался Андрюха. – Например, слово робот! Куда ударение падает, рОбот! Ну... – и победоносно посмотрел на меня. – Значит, рОбота! Так ведь?!

Я покосился на газету на столе и ткнул пальцем:

– «Темиртауский РАбочий»!

– Ух, ты... – протянул Андрей. – Надо же... А-а-а-а... Значит, от слова РАб, вот оно – проверочное словечко. РАботать – РАб. Точно! – забрал у меня плакатик с картинкой, а к вечеру принёс исправленный, ещё лучше.

На этот раз Екатерина Никифоровна похвалила, но сказала, что гласная «а» в слове «работа» – непроверяемая. В СССР нет рабов, поэтому нужно просто запомнить, как пишется, вот и всё. Запомнил.

Кем стать? Кем лучше быть, хорошистом или отличником? Вот ведь вопрос, размышлял я вечером в постели.

Если человек хороший – это ведь хорошо, верно?

А если отличный человек, наверное, это ещё лучше, чем просто хороший?

Хотя, вчера в гастрономе, куда заходили с мамой за продуктами, тётя-кассир кричала очень громко мужчине в шляпе: «Для всех хорошей не будешь! Иди отсюда! – и ещё зачем-то добавила, – а ещё в очках!».

Да, точно, дяденька был в очках и в шляпе.

Хм, таким хорошим, как тётя-кассир, я не хотел быть. Ладно, буду простым обыкновенным отличником, раз такое дело, и спокойно уснул. Решено же.

Отличником стать не так-то легко. Это только кажется – раз и стал. Нет.

К примеру, настойчиво выводил в прописях самую сложную букву «эф». Сначала не очень получалось, но потом всё лучше и лучше, правда, немного заваливались буквы в разные стороны. И всё равно, гораздо симпатичнее выходило, чем в начале.

Главное – терпение и труд.

И снова старательно выписывал «эф», и думал, что пятёрочка не за горами, а там и почёт, и уважение. Отличник ведь!

Тут за окном снегирь уселся на ветку рябины. Клюёт замёрзшие ягоды.

Отвлёкся я на секундочку, любопытно же, да и наблюдения за живой природой важны. Так Екатерина Никифоровна говорила. Я и наблюдал, пока снегирь не упорхнул.

Снег как сыпанулся с ветки вниз яркими блёстками, да прямо за шиворот кому-то из старшекласников. Смеху было!

А ручку я выронил прямо на лист прописей. Клякса и брызги чернил неплохо легли на бумагу. Промокашка не справилась.

Пришлось переписывать. Но уже не получилось так красиво, как хотелось, и нужно было для отличника.

Ничего, жизнь большая, успею!

Вместо продлёнки в драмтеатр ходили. Спектакль смотрели про аленький цветочек.

Хорошая постановка. Нам понравилось очень

И горевали, и смеялись, и хором подсказывали, если Степан, это папа Настеньки, вдруг что-то забыл, начинал вспоминать, что он обещал своим дочерям в подарок привезти. Немного бестолковый купец.

Ой, а больше всего Настенька понравилась. Красивая. Только она не Настенька совсем, а тётя Марина, мама Светки Покатигорошек, моей соседки по парте.

Когда вернулись в школу, Каримка спросил у Светки, можно ли посмотреть на аленький цветочек, если он ещё целый? Честно говоря, я тоже хотел узнать, но отложил на потом. И правильно сделал, потому что Светка ответила Каримке:

– Дурак!

И правда, чего пристал к девчонке!

К осенним каникулам усталость чувствовалась. Понятно, почему. То чтение, то арифметика, то чистописание, то песни разучивать, да много чего. Это не детский сад, это жизнь взрослая и ответственная.

И странно, даже заскучал на второй день каникул. Книжки читал, рисовал, брата младшего кашей кормил, телевизор смотрел, гулял. Все дела переделал. Потом сел за стол и начал решать примеры и задачки, выписывать буквы в прописях, заниматься наблюдениями за природой.

Правда, ещё через день решил отложить это всё, раз по закону положены каникулы, значит, буду отдыхать.

А потом пришла настоящая зима, с вьюгами, метелями, буранами, снегопадами и морозами.

Взрослые – люди с пониманием оказались. В самом деле, как ходить в школу, когда на термометре за минус сорок?

Поэтому в понедельник по радио сразу перед «Пионерской зорькой» объявили, что надо пощадить детей, пусть дома сидят, пока стужа не уйдёт. Ох!

Все эти дни мы, разумеется, не сидели без дела. Устали ужасно!

Тоннели в двухметровых сугробах копали, строили крепость, большую горку, каток во дворе залили, играли в хоккей самодельными клюш-

ками, ходили в атаку на крепость, катались на лыжах и санках. Дел невпроворот было, иногда про обед забывали. Да мы бы и на ужин позже приходили, если бы родители уже с работы не возвращались.

Устали, устали, да ещё как. Вечером только подушки ухом коснёшься и всё.

В пятницу проснулся пораньше, надо с парнями кое-что поправить в пещерах и крепостную стену обновить, в обед с соседнего двора завоеватели придут. Договорились с ними. Позавчера мы их крепость развалили в боевом азарте.

И тут неожиданность. И снова по радио. Да таким радостным голосом, мол, за окном минус 30, школа рада видеть нас всех. Мы, конечно, тоже рады, но ведь мороз!

К концу первой четверти почти все довольно сносно читали. Я не имею в виду нескольких книголюбов: меня, Каримки, Светки, Ленки Варенцовой и Женьки Купревич. Нас для примера показывали всему классу. Екатерина Никифоровна по секундомеру засекала, сколько слов в минуту мы прочитать успевали. Но тут важно было не протаторить, а читать с выражением. Соревновались между собой даже на переменках.

Учился с нами Богдан, недавно появился в школе, откуда-то из Украины родители переехали. Тихий и замкнутый мальчишка, с интересным разговором. Ничего, нас бойких на весь класс хватало.

Как-то вызвала Екатерина Никифоровна Богдана к доске.

Богдан пишет на доске буквы, вместе с учителем проговаривает их. Рядом на стене картинка.

– Эм! – Екатерина Никифоровна.

– Мэ! – ученик. И мелом по доске.

– Е...

– Е...

– Тэ...

– Тэ...

– Эль...

– Лэ... – аж язык от усердия прикусывает Богдан, получается!

– А! – заканчивает диктовать Екатерина Никифоровна.

– А! – любитесь дивом дивным ученик.

– Ну, Богдан, какое слово получилось?!

Богдан морщит лоб, трёт нос, смотрит на красоту, собственноручно накарябанную, переводит взгляд на картинку с изображением дворницкого инструмента и уверенно отвечает:

– Виньк!

В преддверии новогодних праздников в школе было красиво и уютно по-особенному. Повсюду разноцветные ленты серпантина, снежинки, шары и цифры 1968.

Основное действие готовилось в актовом зале на четвёртом этаже. Мы ждали, когда ёлку привезут, интересно же, как её поднимать будут.

Пропустили как-то.

По важным делам проходили мимо зала и в щёлочку между половинками двери заметили – ёлка уже в зале. Подошли поближе. Разочарование было сродни тому, когда вместо чёрных парт мы увидели 1 сентября совсем другие.

Посреди зала металлическая труба, с приваренными к ней отростками, в эти трубки старшеклассники запихивали еловые лапы. То есть, ёлка оказалась не настоящей. Не то чтобы совсем ненастоящей, как Дед Мороз, скажем, но всё равно петь на утреннике в хороводе «В лесу родилась ёлочка» мы наотрез отказались. Просто ходили по кругу и с превосходством посматривали на одноклассников «Вот, дураки, верят же в сказки!».

Хотели даже вообще выйти из круга, но тут Снегурочка, старшая пионервожатая Тома, пригласила поучаствовать в конкурсе костюмов. Пришлось остаться, тем более, что за показ наших тридцати трёх богатырей нам вручили кульки с конфетами, орехами и мандаринами и каждому по машинке.

Андрюха, Саня, Каримка и я долго рассматривали Деда Мороза. Но не смогли угадать, кто спрятался за бородой и красной шубой, поэтому нехотя пришлось согласиться, почти согласиться, что Дед Мороз (похоже) настоящий.

А то как-то много сразу разочарований: и ёлка, и Снегурочка.

Перед Новым годом в классе появился Дракон. Не сказочный. И не дракон, конечно, и не совсем перед праздником, а сразу после начала второй четверти.

День Дунг, мы его потом просто Денисом называли или Деней, сын вьетнамских коммунистов. Как уж они оказались в нашем степном, забураненном краю, можно только теперь догадываться. А тогда мы совсем не удивились. В школе каких только национальностей не было. И корейцы, и немцы, и китайцы, это кроме всех представителей Советского Союза.

В Дине ничего драконьего не было. Маленький, худенький, черноглазый, необыкновенно прилежный и аккуратный. Говорил и писал по-русски плохо, но вот считал быстрее всех, рисовал здорово и песни пел замечательно на не понятном нам языке.

Драконом он стал после того, как к Новому году разучивали песню со словами «...на еловых лапах спит дракон, он из братского Вьетнама привезён...». Мало того, День явился на утренник в костюме дракона, ярко-красном, с чёрными и жёлтыми полосами, с зубастой головой с гребнем и шёлковым длинным хвостом. Ох! Так что наши с пацанами костюмы тридцати трёх богатырей поблели на фоне стремительного Дракона Диня.

Да и прозвище Дракон за Диней не закрепилось, так, иногда проскальзывало в разговорах.

Совершенно не понятно, что девчонки делают со своими портфелями! Кажется, ничего не делают. Для чего тогда портфель нужен?

К примеру, вот горка, санок нет под рукой. И что, прикажете просто садиться на лёд и ехать? Портфель для чего!

Ещё пример? Пожалуйста. Стычка началась. Отбиваться, идти в атаку голыми руками? А портфель в руке не пригодится?

За школьным двором клад нашёлся, ненужные кабели в свинцовой оплётке. Огромная катушка. И куда, спрашивается, добытые куски клада девать? В карманы? Не смешно даже.

Очень полезная вещь портфель. Жаль, непрочная. Уголки металлические сразу теряются, замок перестаёт работать, ручка отрывается, внешний лоск меняется на бывалость. Однако это всё говорит в пользу предмета и хозяйственности владельца.

Как-то Екатерина Никифоровна сделала выставку наших портфелей. Мы с пацанами с гордостью смотрели на свои, а девчонки любовались своими. А чем любовались-то? Все уголки на месте, замочек блестит, ручка новёхонькая, ни пятнышка, ни царапинки.

Ещё раз всех вас спрашиваю, для чего девчонкам нужен портфель?!

А я всё о ранце мечтал, как и многие одноклассники.

Некоторые могут сказать, что портфели девчонкам нужны, чтобы мы, пацаны, их им носили. Бывало, конечно, но, в своё оправдание могу сказать, что не очень часто. Да и нетрудно совсем, а Све... ой, чуть не проболтался, а девчонке приятно.

Да там и весу, в том портфеле – ерунда: тетрадки, учебники, карандаши. Запросто в одной руке два портфеля нести можно.

И ещё некоторые девчонки признавались мальчишкам в неких чувствах. А что делать, если парень не понимает ни взглядов украдкой, ни вздохов, ни одобрений даже не очень хороших поступков или похвалы не очень заслуженной. На самом деле, не говорить же ему, что понравился. Треснуть портфелем по голове и оптимальный результат на лицо. Всё сразу понятно.

Согласитесь, девчонкам портфель тоже нужен. Иногда.

Забастовку мы объявили. Да. В столовой. Каждый день нам на обед, это между уроками и продлёнкой, перед компотом давали ложку рыбьего жира. Не знаю, для чего. Положено и всё тут.

Ладно в садике, там не отвертишься от нянечки с большой бутылкой. А в школе! Взрослые ведь люди и на тебе.

Тётя Домна, работница школьной столовой, тоже подходила к каждому и наливала в подстав-

ленную ложку (и ведь подставляли!) остро пахнущую рыбой тяжёлую жидкость. Полагалось сделать «ам» и тут же запить, чтобы назад не выскочило.

Забастовал первый Каримка. Он подносил ложку ко рту, а когда тётя Домна поворачивалась к следующему, выливал из ложки в тарелку от супа.

Мы с Андрюхой быстро, дня через два-три сообразили, что можно и так делать.

Забастовали, одним словом. Кое-кто из класса тоже подхватил идею. Рыбий жир остался в прошлом.

Что ни говорите, калоши – полезная вещь! В валенках тепло, легко и уютно, но промокают и быстро изнашиваются, на пятках дырки образуются. Зато калоши натянул поверх валенок – и нет забот: ходи себе на здоровье хоть по снегу, хоть по льду, хоть по лужам, если только они не глубокие.

В школе валенки полагалось снимать, так что перед первым уроком все наши валенки у батарей выстраивались, по школе в туфлях ходили.

На перемене ведь нужно свежим воздухом подышать, верно? Школьная медсестра рассказывала о пользе проветривания помещений. Чтобы умножить пользу, мы успевали между уроками и в снежки поиграть, и по тропкам ледяным покататься, и снега в туфли набрать. Ногам, конечно,

сыро потом, но пользы сколько всему остальному организму!

Вечером домой возвращаешься в сухих валенках и калошах.

Перед новогодними каникулами весь город наблюдал поздно вечером, как с близкого к нам Байконура взлетала ракета со спутником.

Папа специально с работы принёс настоящие очки металлурга, он в них варил чугуны в домне. Стёкла чёрные-чёрные с зелёным. Сначала я ничего не видел: ночь и тёмное небо, даже звёзд сквозь стекло не видно, а потом народ как зашумит: «Вон она! Вон, ракета! Ур-р-р-а-а-а!».

И точно, я увидел яркую стремительную точку, с маленьким штришком-хвостиком. Это было так быстро, что ничего толком и не рассмотрел.

Утром в школе Андрюха важно рассказывал, что смотрел на ракету через бинокль. С фронта папа Андрея привёз его. Хоть Андрей и говорил, что бинокль военный, но я немного сомневался, потому что похожие бинокли в нашем драмтеатре выдавали желающим.

Андрюха видел в иллюминаторе космонавта, только не разобрал, кто там был, то ли Юрий Гагарин, то ли Герман Титов, а может и оба: «Темно же! – сокрушался Андрей.

Удивительно, ни в газетах, ни по радио, ни по телевизору об этом полёте советских космонавтов не рассказали.

Андрей отмахнулся: «Секретный полёт был!».
Может и так.

Самый маленький в классе даже не Диня, а – Саня. У Сани было две замечательные особенности: он хорошо рисовал, прямо здорово рисовал, и любил кипячёное молоко с пенкой.

Мы не то чтобы дружили с Саней, скорее приятельствовали взаимовыгодно. На физкультуре Сане сказали – нужно больше молока пить и каши есть, чтобы вырасти. Я подумал, что раз на две головы выше Сани, то мне молоко кипячёное (с пенкой!) пить совсем необязательно, тем более, что и не люблю я его.

В общем, Саня пил двойную порцию молока и выручал меня, если нужно было что-то трудное нарисовать в альбоме на уроках рисования.

Жаль, Саня не любил кисель, о его пользе для роста ничего не говорили, поэтому кисель я просто отдавал всем желающим.

Всех входящих в школу встречал прищур Ленина. Огромный портрет вождя висел на стене вестибюля. Приветствовал Владимир Ильич, с хитринкой вглядываясь в каждого, мол, уроки выучил? Двойку по алгебре исправил? С Каримкой помирился? Почему с похмелья явился? Ой, ну, это у дворника дяди Кости интересовался вождь.

Мимо портрета нельзя было бегать, только степенным шагом проходить.

Вообще-то, изображения Ленина были в каждом классе и на каждом этаже, только гораздо меньше, чем в вестибюле. Много было портретов. И что, нельзя было по коридорам побегать? Да можно, конечно, можно, решили мы с пацанами. Вон, в «Рассказах о Ленине» Зощенко написал же, как маленький Володя расшаршил графин. Было? Было, чего там. И нам можно побегать, пошалить.

В правом крыле школы первого этажа квартира директора. Тут уж старались вообще мимо на цыпочках проходить. Это дедушка Ленин только с прищуром посмотрит, а директор?!

Видели мы его редко и издалека. Высокий, сухопарый дядька в сером костюме с широким набором наградных планок. Фронтвик, с лёгким прихрамыванием на левую ногу.

Однажды боролись с Андрюхой в вестибюле. Поодаль от портрета вождя, чтобы не заметил. Так мы и не дрались, просто решили побороться и всё. Андрюха сказал, что Ленка Варенцова лучше Светки Покатигорошек. Причём абсолютно безапелляционно заявил – лучше и всё. И во всём. Может быть и так, конечно, мне Ленка не давала списывать примеры по арифметике, так что не знаю. В общем, решили бороться за чем-то.

В пылу возни подкатились к дверям квартиры директора. Не то чтобы к самым дверям, а прямо ему под ноги. Нашёл время выходить из дома!

Я как раз уже на Андрюхе сидел и руку ему за спину заводил.

Директор постучал ладонью мне по плечу:

– Молодые люди, позвольте пройти?

Пришлось отпустить Андрюху, а что делать?

Директор пошёл дальше, опираясь на толстую трость.

Андрюха тут же кинулся доказывать:

– И ничего ты не победил! Я просто отдыхал!

– Чистая победа! – обернулся к нам директор, указывая на меня пальцем. – Но впредь, пожалуйста, в спортзале тренируйтесь.

Как-то раз нам снова повезло, завхоз оставил приоткрытой дверь подвала-бомбоубежища.

Саню оставили на карауле, чтобы с той стороны дверь не закрыли. Мало ли. Говорят, один первоклассник тут несколько лет просидел. Даже борода выросла. Но врут, конечно, завхоз каждый день сюда что-то либо заносит, либо, наоборот, выносит, то ящик с мелом, то глобусы. Сам видел.

Мы ходили, никого не трогали, да и кого там тронешь. Заглядывали в комнаты. Много всякого интересного.

В угловой каморке заметили бюст под старой скатертью с бахромой. Включили свет. Уса-

тый, с орлиным носом и в погонах. Внизу выбито И. В. Сталин.

Жаль, что в подвале стоит. Симпатичным показался.

Под столом, где стояла голова Сталина, оказался полный дощатый ящик точно таких же бюстов, только маленьких. Покрутили в руках, посмотрели. Взять себе захотелось, особенно того, беспомощного, с немного отбитым носом и краем погона, но как без разрешения?

Самый непонятный урок – пение. Никакой дисциплины. Все орут под баян, кто во что горазд. Вообще-то, в конце концов что-то получается. Только песни какие-то детские, то про зайчиков, то про ёлочку, то про ручейки. Скучно!

В самом деле, выучили бы «Хотят ли русские войны», папина любимая, «Восточную песню», хоть и про любовь, но всё равно красивая, маме нравится, а ещё было бы здорово спеть, как часто по радио: «А-а-а-аранжеевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд...». Вот бы мы наорались! Эх!

Но сидим и скучно поём из-за парт про балбеса Алёшу и его новые калоши.

Кстати, я потом слова внимательно прочитал, а ведь Алёша-то – отличный парень, и совершенно не понятно, за что его ругали?!

На доске, на специальной полочке всегда несколько кусков мела. Можно даже на перемене взять и нарисовать или написать что-то. Плохо только то, что вдохновение приходит к концу перемены и приходится наспех стирать тряпкой. А если быстро, значит не очень аккуратно, разводы остаются. Впрочем, плюс есть несомненный. Екатерина Никифоровна отправляет мыть тряпку.

Что тут такого? Сбегал в конец коридора, там раковина с краном и фонтанчиком для питья есть.

Да только кто же по коридорам во время урока бегают и шумит!

Тишина. Из классов тихие голоса. На стенах плакаты и портреты разных учёных и великих людей Страны Советов.

Во время перемен некогда рассматривать, дел очень много. Зато сейчас идёшь и рассматриваешь лица каких-то членов Политбюро, дядек с серьёзными лоснящимися лицами, улыбаешься в ответ Юрию Гагарину, рассматриваешь красно-золотой мундир Лермонтова, удивляешься причёске Михаила Ломоносова.

Надо будет потом внимательно все портреты рассмотреть и картину «Опять двойка», она как раз между дверями 1 Б и 1 В висит.

Две недели в городе крутили фильм «Спор за золотую богиню».

Мы сначала с папой и мамой ходили в «Комсомолец». Потом только с папой в «Восток». Второй раз мама отказалась идти в кинотеатр. Почему-то не понравился фильм ей. Неинтересный, шумный и, видимо, не про любовь и всё такое. Но в этом кино даже королева была английская.

Весь город заболел футболом, во всяком случае, наша школа точно!

Играли тем, что под ноги попадётся. Пинали консервные банки, портфели, туго скрученные в подобие шара тряпки. Лишь бы сильнее ударить да в ворота, обозначенные, попасть. Мяч – редкость. Да и ну его, летит, как хочет. Парни из третьего класса рассадили всё же окно. Выскочили на перемене после физкультуры на улицу, Марис, лучший футболист класса, показывал гол-фантом Херста. На самом интересном месте звякнуло стекло, и мы быстрее, чем осколки, попадали в сугроб, оказались в школе.

Во дворах сборные команды мира со звучными фамилиями игроков Пеле, Гарринча, Эйсебио, Беккенбауэр, Яшин, Численко, Шестернев, Чарльтон носились до жаркого пота в почти сорокоградусные морозы.

Отцы, соседи, прохожие громко болели и растаскивали слишком азартных игроков.

Через пару недель накал поостыл, а Екатерина Никифоровна, укоризненно покачивая головой, раздавала наши тетрадки с тройками и двойками.

За всё надо платить, как оказалось.

Ой, что я видел, вернее, кого! Ладно, с самого начала, чтобы не запутаться.

После продлёнки прибежал домой, у самого подъезда с папой встретился. Он тоже торопился. Сегодня хоккей.

В городе ледовый дворец и своя команда «Строитель». Мы ходим на все матчи, если у папы не вечерняя смена.

Быстрый солдатский ужин. Банку гречневой каши с говядиной ложкой прямо из горячей сковороды. Несколько глотков чая.

Бегом на трамвай. Успели.

Только я первый период почти не видел. В нескольких местах от нас Екатерина Никифоровна. Рядом учитель, кажется, физики или математики.

Обычно во время матча я вскакиваю вместе с папой, кричу, пытаюсь свистеть громко-громко, а тут вдруг застеснялся. В самом деле, что скажет Екатерина Никифоровна? Что я не умею себя вести, вот, что скажет. Поэтому сидел, сложив руки на коленях, и посматривал в сторону учителей.

Наши как раз вlepили шайбу в ворота магнитогорского «Металлурга». Трибуны взревели. Свист, торжествующие крики, все на ногах. А я сижу и вижу, как Екатерина Никифоровна тоже прыгает в восторге рядом с этим физиком или математиком, потом как ПОЦЕЛУЕТ его в щёку.

Мир потускнел. Как так! Наша Екатерина Никифоровна целует какого-то там, пусть и учителя. Нас-то она не целует, хотя мы знаем, любит каждого.

Во время перерыва вышли с папой покурить. В смысле, папа курил беломорину, а я просто стоял на морозном воздухе, размышлял, как жить дальше.

Тут-то к нам и подошёл этот физик-математик:

– Привет, Володя! – пожал руку папе.

– О, Саня, вот это игра! – папа смял папиросу о край урны.

– Катя, здравствуй! – поприветствовал Екатерину Никифоровну.

– Вот это матч! – протянула Екатерина Никифоровна. Она под руку с Сашей стояла. – Как тебе, Серёжа?

Я только кивал в ответ.

В общем, осиротели мы, размышлял я. Оказывается, этот Саша – муж Екатерины Никифоровны. И у них есть дочка Таня. Только в школу она ещё не ходит. Малолетка. Семь стукнет в январе.

Сегодня продлёнки нет. Отменилась. Учитель заболела. Направились по домам после уроков.

По пути чего-то поспорили с Каримкой. Вывалились в снег. У меня ухо распухло, Каримка саданул кулаком. Хорошо, что я в шапке-ушанке. У Каримки кровь из носа. Это я постарался.

В общем, пришли к дверям треста, где меня мама ждала на обед, немного в неприличном виде.

Очищались от снега, мама умывала нас в трестовском туалете тёплой водой. Оставили шубы в её кабинете.

Обедали в кафе «Спутник». Днём-то это обычная столовая, а по вечерам – кафе. Вон и эстрада небольшая, аппаратура на ней, ударная установка. Дяденька у рояля с гитарой в руках сидит. Трогает клавиши, затем струны, слушает, затем крутит колки на гитаре. Интересно.

Пока наблюдал за музыкантом, мама сделала заказ из меню. Всем по порции дунганской лапши, винегрет, полстакана сметаны и компот.

Дунганская лапша очень вкусная. И весёлая. Каждая лапшина метров сто пятьдесят. Её втягиваешь, втягиваешь, она никак не заканчивается, а потом хлоп по носу самым кончиком. Остаётся только из пиалы, в которой подана лапша, выпить бульон.

Мама внимательно посмотрела на нас, когда мы уходили: «Помирились?».

Так мы и не ссорились, просто поспорили.

– Серёга, ты заметил, сколько стоит винегрет? – спросил Каримка на углу треста. Тут мне налево, а ему прямо.

– Четыре копейки! А лапша – двадцать шесть.

– Ого-о-о-о, – протянул Каримка.

И чего ого? Я это меню наизусть знаю, люблю обедать с мамой в кафе «Спутник». Хоть и редко, но бывает.

У Екатерины Никифоровны на столе коробочка с цветными мелками. Розовый, зелёный, синий, жёлтый. Красивые мелки. Учительница ими на доске выделяет важное. Бывает, сделал кто-то ошибку в слове или пример неверно решил на доске, Екатерина Никифоровна берёт розовый мелок (и почему красного нет?), перечёркивает ошибку, с нашей помощью выясняет, как правильно, и затем вписывает букву или цифру.

Скажем, зелёным цветом подчёркивает или выделяет то, что нужно запомнить в трудном слове «машИна».

Поэтому в коробке розовые и зелёные мелки короче всех остальных.

Вы ведь замечали, как аппетитно выглядят новенькие брусочки мела? И мы не удержались с Андрюхой и Каримкой. Откусили понемногу. Ничего вкусного, так себе. Помолчали и выплюнули.

Шура Костикова, кстати, отличная девчонка, она не так давно появилась в классе, родители приехали из Ташкента в долгую командировку.

Так вот Шура по секрету сказала нам, что цветные мелки на самом деле делают с добавлением сахара и других вкусных фруктов.

Мы не удержались, пока никого кроме нас троих в классе не было, попробовали незаметно от разных. Нет. Такое же безвкусное, как и обычный белый мелок.

Ничего мы не сказали Шуре, а она почему-то улыбалась, когда на нас смотрела.

Я только потом понял: у Андрюхи щека в зелёной пыли, у Каримки верхняя губа – в розовой, а у меня, выходит, – в жёлтой. На всякий случай, протёр лицо ладонью. Так и есть.

Эти девчонки, ну их!

Очень интересно ваше мнение по поводу химического карандаша. Что скажете?

Почему интересуюсь, вдруг, у вас опыты с ним, с химическим карандашом, удачные были.

Замечал, как папа на фанерке для посылочного ящика писал таким карандашом. Окунал его слегка в баночку с водой и выводил ровными буквами фиолетово-чернильным цветом адрес бабушки. Обратил внимание, что грифель заточен толсто, от этого и буквы были широкими.

И подумалось, а если попробовать писать таким карандашиком? Это тебе не перо, которое

то зацепится за бумагу, то брызнет чернилами, то от сильного нажима вообще расплзётся на две полосы. Решено.

Заточил карандаш тоненько-тоненько, как сумел. Окунул в воду, начал писать домашнюю работу по письму сразу в чистовик. Чего время тратить на черновик?!

Первый слог получился ничего так, почти ровно и почти чернильно, потом стали еле заметные отметины оставаться на бумаге. Окунул карандаш снова в воду. Опять появились фиолетово-насыщенные буквы и вновь пропали. Мало того, с карандаша стекла капля и не очень красиво образовала светлую кляксу.

Ага. Это я так подумал и сообразил, что воды слишком много. Подумаешь, проблема, надо снизить количество влаги. В общем, после каждой закорючки в тетради облизывал грифель.

Если честно, ерундово получилось домашнее задание. Пришлось переписывать пером. Губы и язык долго не отмывались.

И всё же, чем у вас закончились опыты с химическим карандашом?

Весна пришла скоро, без предупреждения. Вмиг растопила огромные сугробы, разлилась ручьями и реками по дорогам и тротуарам. Солнце выжимало смех и слёзы. Промокшие валенки с калошами сохли дома, ботинки весело крошили остатки льда и утробно чвакали мокротой внутри.

То и дело кто-то выбывал ненадолго из класса, простуды и грипп коварно поджидали, укладывая в постель.

Совершенно неожиданно я тоже слёг.

Вчера после школы пускали кораблики с Каримкой и Андрюхой. Бумажные суда легко бежали по стремительному ручью, мы их догоняли, разбрызгивая подошвами яркую водяную взвесь. В самом деле, не будешь же обходить все водные преграды, тем более почти у финиша. Надо же видеть победный финиш корабля, упёршегося треугольной мачтой в забор.

Потом спорили, стоя в луже, чей корабль стал победителем. Затем решили, что ничья. Только потом разошлись по домам.

Вечером поднялась температура.

Несколько дней безделья, лекарства, малиновое варенье, книги, звонки по телефону от родителей с проверкой, выпил ли таблетки, пообедал ли.

У Каримки и Андрея не было домашних телефонов, поэтому только через неделю узнал, что мы одновременно болели.

Зато в первый день после больничного в продлёнке мы складывали из тетрадных листов новые корабли, улучшенной конструкции, украшали их флажками и красными звёздами, на носу писали свои имена, чтобы сразу было видно, чей идёт к победе или поражению. К несчастью, вечером подморозило, мы так и не испытали новые корабли.

Пишем диктант. Аж из самого ГорОНО прислали. Диктует Екатерина Никифоровна, а чужая тётя строго следит за нами.

Мы даже рассердились на неё за то, что она уселась хозяйкой за стол Екатерины Никифоровны, опустила золотые очки на кончик носа и смотрит.

Конечно, не подведём Екатерину Никифоровну, постараемся.

Сидим, выводим пером буквы в тетрадах.

– Наша Зорька дома, – по слогам, чётко проговаривая гласные, читает Екатерина Никифоровна.

Перед началом контрольной работы она сказала нам, что Зорька – это корова, а не собака или кошка, например.

Я ещё тогда вспомнил лето у бабушки, корову Июльку, солнце, запах и вкус молока. И так захотелось на каникулы, к бабушке. Но до лета далеко, а сейчас – диктант.

– Мама доит Зорьку...

Не умеет моя мама доить корову. Да и бабушка никому не доверит доить Июльку.

– А конь Вороной на лугу.

Вороной – это не цвет коня, это кличка. Только у дедушки Шмель. Белый конь с чёрным пятном на лбу.

– Он возит сено. – заканчивает диктовать Екатерина Никифоровна.

Ленивый, выходит, Вороной в диктанте, только сено возит. Наш Шмель и воду в бочках на поле возит, и хворост, и уголь зимой, и кизяки. «Добрый конь!» – дедушка всегда хвалит.

Екатерина Никифоровна ещё раз прочитала диктант, чтобы мы проверили.

За диктант я получил четвёрку. И ведь ни одной ошибки не было!

«Наша Июлька дома. Бабушка доит Июльку. А Шмель на лугу. Шмель возит сено, воду, хворост, уголь и кизяки.»

И за что четвёрка? За правду жизни?

Всё в школе было хорошо и даже прекрасно, и вдруг... После первой перемены прямо в класс вошли врач и медсестра. Обе в тревожного белого цвета халатах, с красными крестиками на груди, в таких же беспокоящих шапочках, а у медсестры в руках ещё и жуткий железный ящичек, издающий металлические утробные звуки.

Ловушка. Капкан. Классическая западня. И никуда ведь не денешься.

Будничным голосом доктор рассказала, что ничего страшного, сейчас всем поставят прививку, чтобы мы не заболели чем-то. Это быстро и не больно.

Класс замер. В ужасной тишине только постукивания орудий пыток из ящичка медсестры. Екатерина Никифоровна велела закатать до локтя правый рукав.

Ох, хорошо, что мы со Светкой Покатигоршек на втором ряду, плохо, что парта первая.

В первом ряду началось. Что там происходило, не было видно, но вот эти звуки: «Ох... ах... ой... ай!» и другие подобные ни о чём хорошем не говорили.

Хотя, когда медработники прошли дальше, сквозь туман ужаса я увидел вполне живые лица Каримки, Женьки, Сани. Дальше не разглядел, поскольку белый кошмар накрыл нас со Светкой куполом.

Хотелось сказать что-то ободряющее напуганной девчонке, но железная хватка врача (на самом деле мягкие и тёплые пальцы) обхватили мою руку у запястья, медсестра мазнула прохладной ваткой по коже и чиркнула чем-то острым и плоским. Всё.

И снова за окном стали слышны звуки машин, чириканье весенних птиц, далёкий, очень далёкий шум металлургического завода.

22 апреля, в день рождения Ленина, нас приняли в октябрята.

Запомнился день барабанным боем, звуками горнов, маршировкой, речами. Волновались, конечно, переживали, потом гордо ходили по школе, посматривая на левую сторону груди на яркую пятиконечную звёздочку с лицом совсем юного вождя.

«Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут!» – это мы хором вошли в класс.

Расселись за парты. Теперь-то жизнь другая начнётся, организованная. А то ходили неорганизованные, как эти.

Смотрю, у Светки Покатигорошек слёзы. Оказалось, она хотела «алмазную» звёздочку, а ей, как немногим из класса, досталась обычная, металлическая.

Посмотрел я на свою, «алмазную», хоть и жалковато было, красивая всё же, но поменялся со Светкой. Пусть порадуетя девчонка!

Через время мне мама «алмазную» купила. Железную я где-то потерял, только застёжка осталась на рубашке. Впрочем, «алмазная» чуть позже тоже потерялась. Ненадёжные какие-то значки-звёздочки.

Иногда после уроков ходили на экскурсии. Не в парк или в музей, а на работу к папам-мамам.

Были в швейной мастерской, где папа Андрюха ловко кроил ткань, насаживал на болванки, и очень скоро выходила замечательная фуражка.

Ходили в гастроном. Там мама Женьки Купревич показывала, как взвешивают на весах конфеты и колбасу, как быстро свернуть кулёк из упаковочной бумаги.

В тресте у мамы вдоволь нащёлкались арифмометрами, настучались костяшками счётов.

Папа Дини Дракона научил поворачивать ключ зажигания в «бобике». В гараже нам понравилась

очень. Пахло бензином и другими приятными веществами. Девчонкам, кстати, не понравилось почему-то.

На домне, где работал мой папа, понравилось всем. Сначала-то боязно было, если честно. Везде железо: ступени на лестницах, коридоры устелены металлом, двери, рамы на окнах, инструменты огромные – всё из железа.

Мы стояли высоко наверху на узкой железной эстакаде. Вокруг грохот, искры, дым, пар, свистки тепловоза, ляг вагонных колёс. Дяденька – начальник цеха – еле слышно кричал, что сейчас из домны будет вытекать чугун прямо в те вагоны, тыкал пальцем вниз.

Там, перед домной, стоял мой папа с огромной кочергой в руках, бил куда-то вниз. Вдруг открылось отверстие и по жёлобу потекло что-то ярко-солнечное, тугое, словно мёд. «Чугун пошёл!» – кричал дяденька.

Именно пошёл, поскольку ручей важно стекал в ярко освещённые пламенем печи чаши-вагоны.

Папа поднял на лоб тёмные очки-маску и помахал нам рукой. Мы в ответ тоже помахали.

Уходили из цеха в восхищении, многие захотели стать горновыми, чтобы варить и разливать чугун.

Окна в классе нараспашку. Май. Тепло. Ветерок лёгкий, птицы щебечут. Мел по доске поскрипывает. Урок арифметики.

Десять отнять четыре. Три прибавить два. Пять отнять пять. Ленка Варенцова быстро пишет под диктовку Екатерины Никифоровны и тут же решает примеры. Мы записываем в тетради.

За окном издали ноющие звуки духового оркестра, бзыньканье медных тарелок и глухие удары барабана.

Екатерина Никифоровна быстро закрывает окна на шпингалеты. Но ужасные звуки похоронной процессии легко пробиваются в класс.

Пытаемся решать задачу, никак не получается. Вдоль школы идут люди за гробом на грузовике с откинутыми бортами. Замыкает шествие оркестр.

Хорошо, что звонок на перемену.

Однажды случилось.

Зачем-то пошли с Каримкой домой через задний двор школы. Обычно мы там не ходили по веским причинам. Во-первых, старшеклассники прятались там и КУРИЛИ. Во-вторых, в том месте иногда выясняли отношения, дело доходило до драк. В-третьих, все хулиганы школы предпочитали это место. В общем, компания не самая достойная для отличника Каримки и почти отличника-хорошиста меня.

А всё из-за кино. «Айболит-66», сегодня на продлёнке ходили. Отличный фильм! Вспомнили с Каримкой самые-самые моменты, даже напевали слова из песенки: «Нормальные герои всегда идут в обход...», увлеклись и оказались на

заднем дворе, у калиточки, оттуда дорожка прямо к маминому тресту, и рукой подать до дома.

Из-за толстой берёзы вышел хулиган-второгодник Сенька. Мы с Каримкой уже и забыли, что когда-то осенью случайно поставили ему чернильную кляксу на голове. Не специально. Так получилось. И потом, мы ведь убежали, и он не должен был нас увидеть. Оказалось, видел и не забыл.

В общем, ничего интересного. Хотя и сопротивлялись мы с Каримкой, боролись, размахивали кулаками, но тщетно. Победил нас здоровяк-третьеклассник.

Лежим на травке носами в траву молодую, дёргаемся, а этот бугай придавил нас коленями в спины и хохочет.

Потом слышим: «Ой!» и Сенька вскочил на ноги. Потом снова: «Ой!» и отбежал от нас, схватившись за голову.

Не зря я сегодня Светке Покатигорошек на день рождения стеклянный шар со снегом, избушкой и ёлкой подарил. Очень он пригодился в портфеле, которым она Сеньку лупанула. Два раза.

Горжусь соседкой по парте.

Расстроился ужасно.

За годовую контрольную по арифметике получил пятёрку с минусом. Как же так! И Каримка, и Ленка Варенцова, и Диня Дракон, и Женька

Купревич, и вообще многие по круглой пятёрочке отхватили, а я – ущербную.

Правда, Светка Покатигорошек четыре получила. Андрюха, тот вообще тройку, и ничего, сидит спокойный и довольный, лишь бы не двойку, а то его папа, даром, что хороший портной, но и отлупит ремнём при случае будь здоров.

Как мог успокаивал Светку, даже рогатку из проволоки подарил, пусть отвлечётся хоть немного. Жалко девчонку.

Екатерина Никифоровна объяснила, что за невнимание минус поставлен. Пример правильно решил, но вот знак с доски неверно вписал: « $5 + 4 =$ » – так на доске было, а я написал: « $5 - 4 = 9$ ».

Конечно, ничего страшного, тем более, что в табель успеваемости минус вообще не вписывают. Тогда я совсем успокоился.

И чего так девчонки развизжались? Что, они ни разу в жизни ящериц не видели?

Андрюха на перемене ящерку поймал во дворе. Маленькая, ярко-серая, жаль, что без хвоста. То есть, если бы она хвост не отбросила, Андрюха бы её отпустил после звонка на урок. Но разве бросишь беспомощное животное без хвоста на верную погибель? Пришлось ящерицу взять с собой: её ведь теперь выхаживать надо, кормить-поить и всё такое.

Сунул Андрей ящерку в карман брюк и бегом на урок. Ящерица маленькая, видимо не очень

сообразительная, не поняла, что с благими намерениями взяли её с собой.

Взяла да сбежала. Мягко шлёпнулась в проход между партами и ну бежать к освещённой солнцем доске.

Девчонки тут же визжать кинулись. А чего визжать? Женька Купревич и Ленка Варенцова рядом с нами стояли, когда Андрюха ящерицу ловил. Что за люди?!

Так что пришлось нам, парням, ловить ящерицу. Диня-Дракон ухватил её за батареей.

Хотели все вместе вынести из школы животное, но Екатерина Никифоровна только Дине разрешила выйти из класса.

Но мы всё равно видели из окон, как Диня вышел во двор, подбежал к газону с сочной изумрудной травой, погладил ящерку и отпустил её на свободу.

Вот это новость, так новость! Ничего себе.

Андрюха где-то узнал, что во втором классе у нас будет другой учитель!

– Как так! – возмущенно засопел приплюснутым носом Каримка.

– Это почему? – Диня Дракон даже присел на бордюр.

Ленка Варенцова развела руками.

Андрюха продолжил:

– Ребёнок у них будет!

– Да нуууу, – протянул я. – У них же есть малолетка Таня!

Женька Купревич справедливо заметила, что у неё есть старшая сестра, например, а у меня – младший брат. Да у всех наших из класса кто-то да был.

– Пацан или девчонка? – поинтересовался Саня.

Женька по-взрослому взглянула на него и даже вдохнула, как школьная техничка тётя Маша:

– Да кто ж знает-то?!

Каримка размышлял вслух:

– Выберут как-то. В новый Детский мир часто завозят!

– Вот ты всё-таки, Каримка, дурак! – Светка Покатигорошек шлёпнула Каримку ладошкой по спине.

Уф, хорошо, я снова не успел ничего сказать. Наверное, Каримка не знает, что детей выбирают в Старом городе в Детском мире. Это десять оставок отсюда на трамвае. Мамы дома несколько дней не было, когда брата младшего выбирала. Очередь большая. Кстати, выбор понравился и мне, и папе.

И почему Каримка дурак? Подумаешь, забыл о другом магазине!

Что-то я немного перестал понимать Светку Покатигорошек.

Зубной доктор проверял. Всех по очереди в кабинет звали. Не то чтобы я сильно переживал, поскольку с зубами порядок, были выпавшие, но там новые, крепкие уже появились

У Каримки слева сверху нет зуба, у Андрюхи – справа, у Дини, кажется, пары слева. У девчонок не знаю, они скрытничают, не показывают, что и как там у них. А что такого? Подумаешь, секретная информация.

Моя очередь. Тётенька-врач покачала какой-то железкой мои зубы, потом попросила шире открыть рот и посмотреть на картинку на стене, на ней белочка грызёт орешек. Я-то послушный мальчик, рот разинул, на картинку смотрю, а тётенька мигом два зуба выдернула. «Сильно качались!» – сказала.

Да не больно было совсем, ойкать даже не пришлось.

Вышел в коридор, пацаны пристали, покажи, покажи. Показал. Прямо посередине сверху зубов нет. Посмеялись надо мной.

Тут Светка Покатигорошек выходит, плачет, даже ревёт. Оказалось, ей тоже два зуба, ровно, как и мне, тётенька удалила.

Зато Сенька-второгодник нас со Светкой свистеть научил. Он после того случая с волшебным шаром ужасно зауважал Светку, да и нас с Каримкой простил за чернила.

Первомай.

Думал, всем классом пойдём на демонстрацию своей колонной, но почему-то только старшеклассники пошли. Жалко.

Мы с друзьями придумали, что понесём на длинных палках вырезанные из картона пятёрочки красного цвета. Саня даже нарисовал уже несколько штук.

Екатерина Никифоровна похвалила и предложила вырезать отметки и повесить в классе. Так и сделали.

Колонну нашей школы я видел на демонстрации. Возглавлял директор, за ним шли учителя и ученики. Красиво шли, все в красном шелку флагов, транспарантов, большущих учебников русского языка, алгебры, физики и ещё каких-то. Не разглядел за знамёнами.

Совсем не помешали бы наши пятёрочки в колонне, ещё красивее было бы.

На уроке чтения Екатерина Никифоровна попросила открыть учебник «Родная речь» на странице с заданием «Рассмотрите картинку «Колхозный птичник» и составьте рассказ к ней».

В классе тишина, думаем. Что тут расскажешь, птичник с красной крышей и куры. Никто не осмелится поднять руку, даже отъявленные отличники Каримка и Ленка Варенцова помалкивают.

– Хорошо, – сказала Екатерина Никифоровна. – Давайте вместе.

Каждый из нас называл, что видит: куры, петухи, кормушки, шесть деревьев, три окна в курятнике, забор-сетка, трава, небо. Кажется, всё.

Скучная картинка, малоинформативная.

Екатерина Никифоровна велела ещё дома подумать и сочинить рассказ.

«Рано-рано утром Кузьма и Антон (это петухов я так назвал) разбудили весь колхоз. Доярки уже пошли по домам. Пастух стал выгонять стадо за околицу.

Птичницы насыпали корм и выпустили кур во двор. Сами пошли завтракать в чистое, светлое здание птичника.

На завтрак у них были яичница и молоко.

Хорошо утром в колхозе».

Пятёрку я, конечно, получил, но остался недоволен своим рассказом. Хотел ещё про рыбаков у речки написать, о вкусных жареных курах, о пыльной дороге (такая была у бабушки в деревне), о колодце, куда так здорово кричать и слушать эхо, о ранней вишне-шпанке, о яблоках «белый налив», об огромном шкафе с книгами, которые обязательно буду читать у бабушки летом.

И так что-то на каникулы захотелось!

Русский язык (письменный) 5, 5, 5, 5, 5.

Русский язык (устный) 5, 5, 5, 5, 5.

Арифметика 5, 5, 5, 5, 5.

Рисование 5, 5, 5, 5, 5.

Чистописание 5, 4, 5, 4, 4.

Поведение 5, 4, 4, 5, 5.

Прилежание 5, 4, 4, 5, 5.

Это я свой табель об успеваемости за первый класс прочитал, там ещё в конце написано «Переведён во второй класс».

Конечно, переведён, а как же! Хотя и не с красным обрезом листочек с оценками, как, например, у Каримки, Женьки, Ленки и ещё у некоторых, но тоже симпатично выглядят оценочки.

Ах, да, первые четыре – четвертные, последняя, пятая, итоговая оценка за год. Вот!

Хорошист-отличник, почти. Если бы не чистописание. Всё из-за этих дурацких пёрышек и чернил. Навыдумывали взрослые, хуже некуда. Можно ведь и простым карандашом писать. Если что-то не так, резиночкой подтёр и исправил, а чернила. Да ну их!

И по поведению не хуже всех. «Вытянул!» – как сказал папа. «Умница!» – похвалила мама.

И расстались мы на лето со школой, Екатериной Никифоровной, Светкой, Каримкой, Ленкой, Андрюхой, Диней, Женькой, Саней и другими одноклассниками.

И было лето. И были каникулы.

И рыбалка на речке, и ночное в жарком поле, и вишня-шпанка, и яблоки «белый налив», и парное молоко, и книги, книги, книги...

Я с ними!

Совсем немного на Земле людей,

С которыми общаться мне хотелось.

Средь них лишь толика моих друзей,

Кому я предан и душой, и телом.

Немного тех, чьё звание – родня,

Тех, за кого всегда молюсь я Богу.

И единицы это – те, с кем я готов хоть в бой,

хоть в трудную дорогу.

Из века в век звучит как стон
Во всех концах святой Руси
Под мерный колокольный
звон:

– Спаси нас, Господи, спаси!

Спаси от всяческих невзгод,
От града, ветра и дождя,
От вечных, тягостных забот,
От войн, от нового вождя...



**Николай
АНАНЬЧЕНКО**

Поэзия



Но вот что главное в мольбе:
Спаси нас, Господи, любя,
Назло коварнейшей судьбе,
Спаси нас от самих себя!

Осеннее настроение

Наохлившись, лес вспоминает о лете,
Намокшие, низко плывут облака.
И кажется, грустно на всём белом свете,
А с неба не дождь будто льёт, а тоска.

Все краски пожухли, приглушены звуки,
Загадки тая, наплывает туман.
И, плача от близкой и долгой разлуки,
Плывёт невидимкой гусей караван.

О смерти вслух не говорят,
Когда она подходит близко,
Лишь опускают скорбно взгляд,
Да головы склоняют низко.

О смерти вслух не говорят,
Когда она проходит рядом.
Лишь боль и скорбь в душе таят,
Следя за траурным обрядом.

О смерти вслух не говорят,
Когда она стучится в двери.
Лишь сердце бьётся, как набат –
Не хочет в гостью злую верить...

Не подкупайте Муз...

Когда в душе бездумно пусто,
И деньги властвуют меж нами,
Когда в агонии искусство –
Не подкупайте Муз рублями.

Пусть позаброшены, забыты,
Пусть плачут горькими слезами,
Пусть голодны, когда мы сыты –
Не подкупайте Муз рублями.

Их дни забвения промчатся,
И царство Муз не за горами,
Но и тогда, в их годы счастья,
Не подкупайте Муз рублями!

Точка замерзания

...А ветка билась о стекло,
Как будто слёзно умоляла
Впустить её в уют, в тепло,
Что б на ветру не замерзала.

Осенний ветер к ней суров.
Сорвал листву, протяжно воя.
А ей хотелось тёплых слов,
Хотелось тишины, покоя...

А я стоял, смотрел в окно.
Я понимал её терзанья.
Стоял в тепле, но всё равно,
Был близок к точке замерзанья.

Порой так хочется тепла,
Не от печи – от соучастья.
От добрых слов и ночь светла.
Наверно, в них основа счастья.

Русская баня

Предвкушая наслажденье,
Забывая все волненья,
Взяв подмышку веник,
Мы выходим в сени.

По ступенькам, вниз во двор,
На серебряный простор,
Важным шагом, не спеша,
Снежным воздухом дыша,
По тропинке вдоль забора,
За солидным разговором,
С милым другом Санькой
Заплываем в баньку.

Банька дышит,
Жаром пышит,
Приглашает на полок.
Обещает, без сомненья,
Высшей меры наслажденье
Тем, кто в бане знает толк.

Ну, пора заняться делом.
И, сверкая голым телом,
Входим, ставим на полок
В тёмном ковшике квасок.

Веник в шайку опустили,
Кипяточком окатили,
И тотчас пришло за это
К нам берёзовое лето!

Саня – мастер в банном деле.
На полке чуть посидели,
Кипятку он зачерпнул
И на каменку плеснул...

Нагоняя банный дух,
Печка выдохнула: – Ух-х-х!!
И, дыша горячим жаром,
Пышет паром,
Пышет паром!

Только первый пар унялся,
Саня вновь с полка поднялся,
Со словами: «Высший класс!»
Льёт на каменку наш квас.
И она, шипя от злости,
Посылает пар к нам в гости.

Вот теперь пора за веник.
Да работать, чтоб без лени!
И идёт, идёт работа
Аж, до тысячного пота...

Сердце, как в любовной
страсти,
Разрывается на части.

– Ох, ручонкам горячо!
– Ничего! Плесни ещё!
– Всё! Сварился! Не могу-у-у!!
Я бегу,
бегу,
бегу,
И, не прерывая бег –
Прямо в снег...
– Боже мой! За что же так!
А по коже – как наждак.

Птицей выпорхнул из снега,
Запыхавшийся от бега,
Вмиг взлетаю на поллок
И кричу:
– Наддай, Санёк!
Чтоб горело, как в огне.
По груди и по спине,
А потом, чуть-чуть пожиже,
Чуть пониже,
чуть пониже.
Сердце рвётся убежать.
Бла-го-дать!

Наедине

Ночь чёрной кошкой
прошмыгнула
В мою незапертую дверь.
И снова память всколыхнулась,
А, значит, не усну теперь.

И вот хожу я, с ночью слитый,
Привычного лишённый сна,
А память цедит, как сквозь сито,
Мои поступки и дела.

Они сквозь призму лет и вёсен
С предельной ясностью видны.
Но память мне их преподносит
С обратной, с тёмной стороны.

Мол, ничего-то не добился,
По сути, вхолостую жил.
И до чинов не дослужился,
А славы – вовсе не добыл.

Я спорю с ней и в споре страстном
Шепчу: «Да разве в этом суть!
Нет, память, всё же ты напрасно
Так мой оцениваешь путь.

Ведь от работы я не бегал,
Мест поуютней не искал,
В краю, укрытом долгим снегом,
Я должностей не выбирал.

Валила с ног порой усталость,
И было мне не до стихов,
Но слёзы радости, случалось,
У мам я видел и отцов,

Которым возвращал ребёнка,
Отбитого от злой беды.

А смех детей, задорный, звонкий,
Мне был наградой за труды.

И те счастливые мгновенья,
Когда с оживших детских губ,
Слова слетали лёгкой тенью,
Дороже грома «медных труб».

Нет, память, ты ко мне пристрастна.
Я верю, день придёт такой –
Напишет цикл стихов прекрасных
Мальчишка, вылеченный мной.

Он лёгкою своей рукою
Напишет лучше и умней
Всё ненаписанное мною
В загруженности будних дней!

Любите женщину за то,
что может быть простой
и милой.
Что окрыляет нас мечтой
и одаряет дерзкой силой.

Дарите женщине любовь,
мечту крылатую дарите.
Ей повторяйте вновь и вновь,
и за любовь благодарите.

Она вернёт вам всё сполна,
за всё отплатит чистоганом.
И твёрдо знать она должна:
любовь не связана с обманом.

И что у вас она – одна.
Всего одна, чтоб не спросили.
Не исчерпать любовь до дна...
Но лишь в любви источник
силы.

Старая скрипка

Я возьму эту старую
скрипку
И начну не по нотам
играть.
Ей колки подтяну, чтоб
не зыбко
Все оттенки души
выбирать.



**Виктор
ШИНКОВСКИЙ**

Поэзия



Пусть рыдает она по-цыгански,
Пусть еврейскую тешит тоску,
а в Гренаде поёт по-испански,
по-славянски печалит Москву.

Полонез пусть сыграет «Огинский»,
Вслед – «Прощанье славянки»...
И пусть
соберёт наших душ половинки.
И уймёт мою русскую грусть.

Памяти Евгения

Поэт пижонист. Прикид из радуг.
Тоннель прапращуров в разводах Беринга.
За океанами искал он правды,
забыв об истинах родного берега.

Мы народ Ванек-встанек, раз Иван, значит, –
встань.
Мы встаём спозаранок так же грозно, как встарь
Нас, казалось, втоптали
в забытьё, словно в грязь,
чтобы мы не роптали, над собою глумясь.
И смеялись, смеялись, потешались взахлёб,
чтоб не русскими стали, и покорными – чтоб.
Может, был и не Гений, но уж больно похож,
Евтушенко Евгений в наших генах – на нож.
И его Пятикнижие, пусть в багровых тонах,
не бельё его нижнее, а Россия впотьмах.
В нём всё прежнее сложено, что сломать
не сумеь,

в нём Россия, как может, продолжает шуметь.
Идут снега за снегами. Март – ещё не апрель.
Молодыми побегами он не грезит теперь.
Но Поэт без подделки прост и грозен, как атом,
попросил в Переделкино, рядом с нобелиатом,
бросить повод Пегасов, придержать ему стремя,
Муза чтоб не угасла, и не кончилось время.
Вспомнил вот, не забыл он
Подмосковья при этом.
Значит, всё же он был им,
больше был, чем Поэтом

Не о себе

Как мудр Поэт. Попробуй с ним поспорь.
И как ему даётся всё, что мудро,
поди узнай. Быть может это хворь
его души с прозрением под утро.

Быть может, это бред его ночей,
а он блажен. Но не похоже.
Когда он грезит, он совсем ничей.
Совсем ничей.
Ну, разве только – Божий.

Так тому и быть

Пройдут и завершатся дни и сроки.
Надежды и мечты свершатся и пройдут.
Сотрутся письма и потускнеют строки,
как отраженья сотен лун в пруду.

Стихом клеймлю бездарные пороки.
Стираю пот со лба и через раз дышу...
Свечу зажгу. Надую важно щёки.
Чего-нибудь за жизнь такое напишу.

Я черепом своим не вычерпаю моря.
Да и куда прикажете всю эту воду лить?
На скалы, почерневшие от горя?
А значит так и есть...
И так тому и быть.

Лист на ветру
Болтовня берёзки на ветру...
Каждый лист, как солнечное пламя.
Не могу поверить, что умру:
кто тогда моё подхватит знамя.

У берёзки юная коса,
вся она – косой – подобна иве.
У обеих русская краса.
Рядом на ветру они красивы.

Я не стану осень торопить,
пусть не опадают дольше листья.
Подкрадётся осень – так и быть.
Есть в её повадке что-то лисье.

Стылый ветер вышибет слезу –
сам ведь я заплакать не сумею.
Много по весне берёз в лесу...
Лишь одна она на берегу,
лишь она одна, да ива с нею.
Их красу я в сердце берегу.

Два деда

Они крестились волей-ветром в поле:
судьбой, не глядя, обменялись баш-на-баш,
один «москаль» – казак со Ставрополя,
второй – из Белоруссии «бульбаш».

Моих два деда встретились таковски,
не зря видать судьбина их свела:
из Могилёвской волости Шинковский,
и Поляничко из Петровского села.

А в Светлограде рядом их могилы,
одна сирень над ними разрослась.
Отвоевали, самогону всласть попили,
крестами православными крестясь.

Теперь уж их кресты навеки рядом,
всё остальное мелочи и тлень.
Одна слеза застила вечность взгляду,
и солнечный – не самый лучший день.

Иные времена теперь и мерки,
но чем измерить вечности печаль...
Но за слезою солнцу не померкнуть.
Гробов отеческих невыносимо жаль.

ОЖИДАНИЕ

С утра я слегка нервничал, потому что летел к ней. Я поставил на газ чайник, вернулся в свою комнату, проверил документы, билет, вещи, подарки и представил, как встретимся: она глянет своим туманным взглядом и тихо молвит: «Я ждала тебя...» В голове родилась новая мелодия, заволновались руки, прикрыл глаза – ноты побежали в уме, требуя выхода. Сел к столу, занёс первую фразу на лист, достал скрипку, проиграл написанное в разных темпах. Всегда непонятно, что выйдет, но копил отрывки. Засвистел чайник, я заварил кофе и принялся мелкими глотками пить. За окном моросило, было пасмурно, по стеклу ползли мелкие капли. кругом висел лёгкий марлевый туман. Только в одном месте



**Владимир
ПЕТРОВ**

Проза



было светлое пятно, то притухающее, то вспыхивающее, как будто стоящее за ним солнце тщится прорваться...

Я летел к ней впервые, не зная, как всё обернётся, потому как расстались три месяца назад, писем не писали, лишь перезванивались. Я смаковал крепкий и сладкий кофе, какой люблю, с лимоном, горячая влага, разливаясь, давала тепло и энергию телу. Оттого хотелось жить и радоваться тому, что есть, и верить, что всё исполнится, как задумал.

В который раз... Вообразил, чем занята она, верно, тоже волнуется, ждёт или, напротив, спокойна и сожалеет, что дала согласие на мой приезд? Решил, что завтра будем гулять с ней долго-долго. Она озябнет, я обниму её, медленно пойдём обратно без слов, лишь обмениваясь взглядами; и неожиданно пойдет снег, ведь в тех краях зима приходит рано, и под белыми хлопьями, смеясь и радуясь, поспешим домой, вернёмся за стол, и она скажет, что скучала и спросит, как я жил всё это время.

Признаюсь, что мне её не хватало, потом отправимся в кино на какую-нибудь комедию, завернём в кафе, выпьем вина, закусим. И каждый, верно, будет думать одно – как дальше, что скажет судьба, встретимся ли ещё?.. В своей комнате тяжело и слышимо, иногда разговаривая сама с собой, ходила мама. Всегда, когда уезжаю, она плачет, просит не оставлять одну – опасается за сердце, пристально глядит на меня, иногда долго не разговаривает. Тем не менее напутству-

ет в прихожей, точно маленького, крестит, трясет головой и шепчет что-то как бы про себя...

Часы говорили: пора. Я взял вещи, простился с мамой и вскоре был в здании аэровокзала. Узнав, что рейс задерживается, подумал, что иначе и не могло быть, ведь не зря волновался. И только когда стемнело, наконец-то объявили посадку. В кресле закрыл глаза, стараясь не думать ни о чём, но расслабиться было трудно...

Мы познакомились в августе, сплавляясь на плотках по реке Чусовой. В эту поездку втянул родственник-одногодок Михаил – сильный, краснолицый мужик, таксист. К тому времени я расстался с Лизой и согласился; Миша взял с нами очередную подругу Галю – медлительную, с тусклым взглядом, рыхлую девицу лет под тридцать. Заядлый охотник и рыболов, легкий на подъем и увлекающийся, Михаил знал всё обо всём, рассуждал категорично, точно рубил топором, и слушал, в основном, себя. Понятия и взгляды его были твёрдыми и неизменными, точно набор инструментов в бардачке, как двадцать лет назад, когда после армии женился, родился сын, разочаровался в жене, ушёл, так и теперь.

...Походная жизнь наша состояла в том, что каждое утро разводился костёр, устраивался завтрак из консервов. Затем собирался весь скарб с котлами, мисками, дровами, палатками, рюкзаками, грузился на плоты, и восемь экипажей шли и шли караваном, наперекор бьющему в лицо ветру, дождю, когда ловко, по течению, когда мерно и однообразно – до смещения мозгов

почти в стоячей воде. А вечером причаливали к очередной стоянке, и всё повторялось в обратном порядке. Команды экипажей формировались по принципу: две женщины и двое мужчин, нас же оказалось трое, потому четвёртой к нам поставили невысокого росточка, светловолосую, в простеньком свитере и штормовке, миловидную туристку из местных, она негромко представилась – Лена. Но, едва стартовали, начались препятствия в самом главном – в ходе: как в крыловском квартете, мы менялись местами, пробовали разные сочетания, но без толку. Миша почему-то упорно перегребал, и я убеждён, что намеренно – мы выписывали дуги, зигзаги, петли; терялась скорость, плелись в хвосте всей флотилии, отчаивались и всё же шли. Соседи посмеивались, обзывали клячами, предлагали взять на буксир. Михаил злился, ругал почём зря Галю, пытался обменять на другую, да не вышло, настроение было взвинченным, только новенькая терпела, молча гребла, закусывая нижнюю губу. А когда, по привычке, в очередной раз недовольный, наш командир прикрикнул и на неё, Лена сжала древко весла, резко обернулась и таким взглядом окинула Мишку, что он тотчас умолк... В первую ночь, хоть чертовски устал, спал я плохо, часто пробуждался; молодёжь у костра пела под гитару, смеялась, играла в карты, не обращая внимания на сырость и неудобства, а то – купалась. Под утро я вылез из палатки. Миша и Галя спали в разных углах, Лены не было. Я сел к костру, чубатый разбитной парень в одной маечке и шортах, подал

кружку с горячим, крепким, как чифирь, чаем и глядел на меня с интересом и лёгкой усмешкой: мол как? Но я знал способ пить подобное зелье и не смутился, спокойно поднялся, подышав полной грудью мокрым воздухом, и двинулся по росистому берегу с кружкой чая. Туман стелился низко и красиво, повторяя линию реки, точно над ней висела вторая, тускло-белая гладь, дождя не было, но сырость и прохлада поглотили всё, из рта шёл пар. «Диво какое! – подумалось мне, – Не зря живёт здесь человечество тысячелетиями: даль – бесконечная и прекрасная, округа – полна зверья и растений – протяни руку и сорвёшь какую хошь ягодку, только не гадь, не круши, не подличай, и природа отдаст себя всю без остатка и с любовью!..» Поодаль, на маленькой пристани я заметил Лену с удочкой в руках. И пошёл осторожно к ней, зная, что рыболовы не жалуют лишних глаз, негромко поздоровался. Она просто ответила, не отрывая внимания от поплавок. Подал ей кружку, но она жестом дала понять, что не хочет. Рыбы на кукане не было, хотел заметить что-либо ироническое по этому поводу, да промолчал. Но вдруг поплавок нырнул, я не сдержался и крикнул: «Тащи!..» Она дёрнула леску, но как-то неловко и вытянула пустой крючок. Я извинился, но Лена обернулась и улыбнулась открыто, показав ровные мелкие зубы, дёрнула плечиками и закинула вновь. А мне очень захотелось, чтобы сейчас повезло. И тут, словно речные князья меня услышали, пошла рыба. За полчаса, когда уже совсем рассвело, показалось солнце,

отмечая начало дня, и оживилось наше становище, она натаскала дюжину полнотелых рыбёшек, название которых я не знал. «На уху достаточно», – просто сказала она и стала собираться. Вечером я напросился к ней в напарники, несмотря на мишкины насмешки, дескать, здесь, кроме мелочи и комариных укусов ничего не поймает. Мы ушли на утренний клёв, после ещё и ещё раз...

Лайнер, как водится, потряхивало, когда садились, за окном был уже глубокий вечер, сердце тревожно билось. Среди встречающих Лены не было, но мы договорились, что сам доберусь. Я позвонил по сотовому – ответа не последовало, сделал вызов из телефона-автомата, результат тот же. Вот тут не на шутку напряглись нервишки, повторил звонки – молчок. Что было думать и предпринять?.. «Успокойся, не суетись, и так только и делал, что торопился жить, боялся опоздать, бросал одно, хватался за другое. А итог – два развода, алименты, лысеющая голова, холостяцкое существование в одной квартире с мамой и неопределённость асфальтного цвета на сердечном фронте впереди. Чёрт!..» Когда так думаю, кажется, жизнь делается чернее некуда, и вечно безысходна, но вдруг, кажется, наперекор дурному настроению, появляются новые мысли, фантазии, рвусь к линованной бумаге, затем в дело идёт четырёхструнная фигуристая подружка со смычком – и мать, и жена, и любовница одновременно, даётся звук, мелодия, разбросанные ноты строятся по моей команде – и радуюсь с трепетом души, в счастливом предощущении, я взлетаю.

Обычно это имеет название «пруха»... Последние дни, что бы ни делал, за что бы ни брался, мысли приводили к Лене: опаздывал на репетицию, получал нагоняй от дирижера Ивана Яковлевича, оправдывался или тихо огрызался, выкручивая под стулом ему фигу, а перед глазами стояла её фигурка в красном плащике; бежал в музшколу давать урок, репетировал с хором, а слышал её голосок в верхнем регистре, как будто извлекаемый флейтой; возвращался домой, отдыхал, просматривал ноты, отвечал на вопросы мамы, а она как будто стояла рядом, отрабатывал вечерний спектакль, и перед сном, слушая транзистор, глядя в давно не беленный потолок, мысленно разговаривал с ней. И сердце при каждом воспоминании о Лене сладко вздрагивало. Ночами, просыпаясь, пугался, что наша история закончилась – и я снова один, снова вытаскил в жизненной лотерее пустой номер и будут напрасны, глупы и странны обещания, свидания, постель. Тотчас накатывала жуть, как если в детстве думал о смерти, и тогда ходил сам не свой, злился, беспричинно ссорился с мамой и пил успокоительную рюмку коньяка. «Ах, жизнь, жизнь!.. Когда хочешь, возносишь под небеса, а то – бросаешь в пропасть!..»

Я бродил по залам ожидания, присаживался и снова срывался с места, звонил – молчание. «Конечно, могли всплыть резкие, неожиданные помехи, затруднения. – пришло на ум. – Но... но выход всегда есть». Раздражение овладевало мной, никакие оправдания не подходили, я зада-

вал себе вопросы и сам на них отвечал, но не мог ничего сделать, уяснить причину своего дурацкого положения. Да, было и смешно, и горько. Тогда взял такси, поехал, как и намечалось, в гостиницу. Стрелка близилась к 12-ти ночи. Девушка на регистрации сказала, что для меня есть письмо, что принесла его женщина часа три назад. Я сразу понял от кого, с дрожью в пальцах вскрыл конверт, прочитал: «Я передумала. Прости. Лена».

– Вам плохо? – спросила девушка, увидев моё лицо. – Что-нибудь нехорошее?

Я отрицательно мотнул головой, Сердце бешено колотилось, в голове была каша. «Ну, вот и всё, финал. А увертюра была такой дивной...» – подумал я с горькой иронией, смял бумагу и сунул в карман. Попросил девушку узнать обратный рейс утром, она нашла и сказала, что может взять билет; принесла в номер чай. Минут пять я недвижимо глядел на серую стену, упершись глазами в летящую птичку на обоях, затем достал коньяк и выпил подряд две рюмки.

...Проснулся с ощущением обиды, хотя соображал, что обижаться не на кого, кроме как на себя. И нужно подчиниться судьбе-провидице, понять и принять, что соединение с женщиной перевернёт жизнь на 180 градусов: новый человек войдёт в квартиру, принесет иные привычки, взгляды, вклинится в каждодневные дела, такие как музыка, сочинение, работа, мама, друзья, прогулки по воскресеньям. Смирюсь ли?.. А ведь только что почувствовал «пруху»: задуманный опус для скрипки почти завершил, и, как будто,

не дурно вышло! Сыграл отрывочек на репетиции, и дирижёр, напрягши тонкое лицо со взбитой седой причёской и другие посмотрели в мою сторону внимательно, мол, откуда это? Я не признался, а показал лишь своему учителю Генриху Казимировичу, и тот, как всегда, слегка навеселе, прослушав, сел за пианино, повторил в точности мою новинку и, выдержав паузу, оценил на хорошо. «Значит блеск, и стоит жить!..» И тут внутренний голос толкнул к обратному, настаивая, что так со мной нельзя, что я отмотал две тысячи километров не забавы ради, за просто так, и, следовательно, требуются объяснения.

Сорвался с места, быстро оделся, ничего не существовало, кроме этой минуты, решительный голос правил мною, и возбуждение имело какой-то сладко-жесткий настрой: посмотреть в глаза, сказать своё, прямо и окончательно решить всё и сейчас, и плевать, что будет после.

Такси мчалось по серому утреннему городу с серыми домами, деревьями, с серым хмурым небом. Минут через десять, у серой высотки шофёр нажал на тормоз, объявив, что приехали. Я выскочил из машины, попросив недолго подождать, рванул к подъезду. Стальные двери неожиданно раскрылись, выходили люди, и я нырнул внутрь, по списку нашёл её квартиру на восьмом этаже, вызвал лифт. Время потянулось, кабина, как всегда, ехала медленно, часто останавливаясь, принимая или выпуская пассажиров. Наконец, железное устройство пришло, освободилось и ждало меня. Я, сам не понимая отчего, нажал

кнопку задержки, образовалась тишина, в голове всё смешалось, точно остолбенел, смотрел внутрь пустого серого ящика с мигающей лампочкой, словно на чудище с открытым зевом. Но вдруг разом сбросилось и физическое напряжение, и душевная сумятица, ввалилась шумная молодая ватага, меня оттеснили. Я медленно сошёл по ступенькам к выходу и покинул дом...

В самолёте придремал, да нервишки не позволяли успокоиться, размышлял, что чувствует Лена, порвав со мной. Или всему виной обстоятельство?.. «Сегодняшнее – это расплата за ту, прежнюю жизнь: за неразборчивые связи и загубы, за обманы и предательства, – промелькнуло в голове. – Жестоко, но что ж...» Я летел тем же бортом и стюарты были те же. Подумают: странный чудак, от нечего делать что ли, вечером прилетел и утром уже назад. Казалось, они знают мою историю.

Михаил встретил меня, а в машине, не оборачиваясь, бросил:

– Ну что: дупель пусто – номердохлый. Я так и знал! Не то она, не то... – он сомнительно покачал головой, сложил тонкие губы.

– Помолчи, прошу, – отозвался я.

– Ладно, умер... Но послушай, – он почти развернулся на месте, тряхнув головой и обдав горячим дыханием. – Я тут даму закадрил – куколка. Женюсь, ей-богу!

Я молча кивнул, выдавив улыбку.

– Не веришь?.. Между прочим, из сферы искусства – в театре работает, костюмершей.

– В нашем что ли? Как имя?

– Не, в драме. А звать Зина...

Время от времени Михаил оборачивался, смотрел в зеркало заднего обзора, верно, намеревался завести разговор, но я делал вид, что не замечаю его движений, прислонился к стеклу.

Дома мама, поцеловав, не дала опомниться, заговорила о своём сердце. Я сказал, что отведу к врачу непременно. Но она возразила, что не стоит, всё пройдет. Тогда я, бросив вещи, упал на кровать, не думая ни о чём... Я едва успел к началу спектакля, дирижёр мягко кивнул мне, приветствуя, при пожатии сжал кисть крепче обычного, а в антракте меня вызвали к директору.

– Дело в следующем, – начал Борис Иосифович, заходя в кабинет своей раздражающей, с мелкими шажками на полусогнутых коротких ногах походкой, будто готовый тотчас пасть на колени. При этом, казалось, внушительный зад его отстаёт от ног. – Иван Яковлевич ложится в больницу и, кажется, надолго.

Он по привычке сложил полные руки так, что они сошлись палец к пальцу, остановился и упёрся в меня взглядом. Мы были знакомы давно, жили неподалёку, учились в одной музшколе; по возрасту директор был старше, слыл человеком осторожным и мудрым. В самой его плотной невысокой фигуре виделись признаки начальника: и галстук, который, говорят, не снимал даже в постели с женой, и тщательная причёска – волосок к волоску, и отутюженный костюм, будто с витрины, и блестящие лакированные башма-

ки – всё подчеркивало его значимость и должность. Ну, а голосом, постановкой, жестами он владел не хуже профессионального актёра. Занимал Борис Иосифович это место давно и слыл в городе уважаемым и достойным, поэтому я ценил его и многие свои вопросы решал именно с ним, а не с Иваном Яковлевичем.

– И возраст, – продолжил он, не разнимая пальцев, – и отъезд второго дирижёра-чужака на стажировку, то есть сам видишь, какая вырисовывается картина. – Он потёр руку об руку и вернулся к столу, поставил локти, полная его фигура так влезла в кресло, что, чудилось, встанет, а деревянное сидение не отлипнет, и слегка поёрзав, кашлянув, закончил. – Поэтому, зная твои способности и, отчасти, стремления, так скажем, склонности, ну, и по диплому ещё и хоровик, и опыт, я знаю, кой-какой всё же есть, предлагаю стать за главный пульт оркестра. Как считаешь?

На последней фразе он поднял голос. Этот умный человек прекрасно знал своих подчинённых, пресекал всякие козни, слухи, хотя они и были непременно атрибутом театров, тем не менее держал коллектив в руках. И, выдавая это предложение мне, конечно же, знал результат заранее. Я растерялся, но быстро кивнул, соглашаясь. Да и как отказаться, когда это была моя мечта. Настроение поднялось, я был на седьмом небе, улыбка и смех уже намерились искривить лик, а энергия рвалась из моего взбудораженного нутра, как будто я был петардой, в которой по всем направлениям метнулся огонь.

– Позволю себе дать несколько советов. Первое – балету и дирижёру лучше дружить. Нужен разумный компромисс, при котором и музыка не страдает, и танцовщику удобно. Второе, это не я сказал: с выдающимся дирижёром деревенский оркестр звучит, как венский, а с плохим – венский, как деревенский. И третье – старайся быть ровным во всем, не выделяй, и не опускай. И ещё, я знаю про ваши, так скажем, не тёплые отношения с главным, но сейчас смиришься, уважь старика, прими и его слова. Он будет ждать тебя после спектакля... Да, и смотри наперёд, – он слегка улыбнулся, скупое, значительно, как всегда, когда выдавал что-то особенное, – справишься, перспектива – худрук, обещаю твёрдо!

Не в силах скрыть радость, я убежал на хоздвор и дал себе волю. Я еле сдерживал голос, чтоб не заорать от радости... Вернул меня на землю звонок ко второму действию. Я отыграл его с таким вдохновением, что отметили все: вторая скрипка Наталья Ильинична, с рыхлой фигурой, с хитрецей и амбицией, переворачивая листы партии всякий раз, старалась заглянуть в глаза, точно сомневалась, я ли это; Ольга – первая виолончель, сухая, безбожно курящая, незамужняя, симпатичная, однажды всё же утянувшая меня в свою постель, вначале уставилась на меня, да так и замерла, с расширенными глазами и полуоткрытым ртом, машинально водила смычком; ударник Вася – добрый малый и пьянчуга, муж альтистки Светы, верный товарищ, в антракте непременно пропускавший стаканчик винца, сияя

круглой рожницей, посреди арии солистки вместо надлежащего пиано так приложился тарелками, что Иван Яковлевич присел, втянув голову в себя. Сам же то и дело, кидая на меня добрые взгляды, ещё больше тряс головой, морщил лоб и вскидывал тонкие руки, перещеголяв, думаю, самого столичного маэстро, которого держал за высший образец.

Отработав, я нарочно долго собирался, отказался, как обычно, идти до метро с Ольгой, укладывал инструмент, сутился. И, наконец, двинулся в сторону кабинета с табличкой «Главный дирижёр». Когда я, постучавшись и получив ответ, вошёл, Иван Яковлевич под неярким освещением стоял посреди кабинета немного растерянный, сутулый, в мешковатом костюме, с серым озабоченным лицом. Похожий на сельского учителя, он выглядел неважно, мне стало жаль его, и я ругнул себя за прежнее. На журнальном столике разместились бутылка коньяка, нарезанный лимончик и шоколад. Но тут он бодро вскинул голову, свёл брови, сверкнул очками, вздёрнул плечи, точно вот-вот мощно взмахнёт палочкой, давая начало.

– Проходи смелей, – с улыбкой сказал он, шагнул навстречу, и я увидел совсем другого человека. – Для начала поздравляю, не сомневаюсь, справишься, и дарю вот это. – Он взял со стола сафьяновый продолговатый футляр, открыл и вынул дирижёрскую палочку. Приобнял меня, и, показалось, у него выступили слёзы. – Давай за тебя. – Мы выпили. – Что хочу сказать, думаю, не

обидишься. – Он назвал меня по имени. – Хорошему оркестру, а наш такой, считаю, главное – не мешать. Это из актива дирижёров. В балете правильно выбирай темп и не вмешивайся в рисунок танца. И сотвори свой образ, ну там причёску, движение головы, играй, актёрствуй. В партитуре, дорогой, все сказано композитором от начала до конца и, если честно исполнить – это блеск, поэзия, гениально. Доверяй музыкантам, они знают возможности своего инструмента лучше, не будь диктатором. И учись, учись, всё замечай, фиксируй, мотай на ус. Главное, не мешать – оркестр сам всё сыграет, а ты выяви то, что композитор замыслил между строк...

Переодеваясь, я наткнулся на письмо Лены и сунул его в мусорную корзину. По дороге домой, обычно, я заглядывал в винный подвальчик-рюмочную, выпить сухого вина, поболтать с обслугой, с такими же, как я, знакомыми и незнакомыми, шумными, развязными, но в меру, любителями хмельных напитков, а бывало, – забивался в дальний угол с лимонным деревом в кадке, спиной ко всем и предавался раздумьям, куря неспешно, с удовольствием, воображая себя то глубоким неизвестным философом, то композитором, переполненным дивными мелодиями, то дирижёром одного из знаменитых оркестров, то не желающим никого видеть отшельником, презирающим блага мира, удовольствия, развлечения. Когда смена Иры – живой брюнетки, порхающей за стойкой с приятной улыбкой, подхватывающей любой разговор так сердечно и тепло,

что кажется, нет между нами никакой преграды: слышишь запах духов, видишь высокую грудь, особый блеск из-под ресниц, ловишь дивного тембра голос и представляешь, что всё это решительно только для тебя. Тогда покидаю заведение слегка одурманенный, а образ женщины ещё долго прячется в уголках сознания, то вспыхивая, то угасая. Если смена Дианы – полноватой с гладким без морщин лицом, с красивыми цыганскими глазами, с чуть взбитой причёской, немногословной и немного загадочной, и оттого неприступной, – то чувствуешь себя, как будто только что с трепетом и отдачей всего сердца, признался в любви, а она, одарив скупой улыбкой, приняла это ровно, не говоря ни да, ни нет. Тут же теряешься и торчишь столб столбом, с глупым выражением физиономии, молча, как поражённый. Не отрываясь, вливаешь в себя вино и, сожалея непонятно о чём, удаляешься на тяжёлых ногах... Но сегодня в винный погребок я не зашёл, неторопливо двигался домой. В беседке между многоэтажками устроились мужики, выпивают, беседуют. Показалось, что среди прочих, послышался голос Миши. Я даже приостановился, но сообразил, что ошибся. И припомнился двухнедельный наш разговор за столом, когда после третьей рюмки, он сделал паузу, расслабившись и слегка улыбаясь, уставился на меня. «Вот ты – с консерваторским образованием, не глуп, обеспечен, даже что-то там сочиняешь. А я – простой шофёр, работяга, тоже не дурак, и зарабатываю, дай бог каждому. А счастья настоящего, живого,

до потери пульса, такого, как говорят, – он сжимал свои кулачищи и тряс ими в воздухе, – чтобы дно вышибло, нет ни у меня, ни у тебя. Где оно? Скажи, просвети родственничка...» Я молчал, разговор уходил в сторону. Михаил терпеливо ждал ответа. Он плотнее сдвигал брови, откидывался всей своей большой фигурой на спинку стула, наконец, хмыкнул, покрутил головой и изрёк уверенно, даже со злостью: «Нет, я своего всё ж добыюсь, брат. Сдохну, но добыюсь. И счастье будет, и любовь...»

У подъезда наткнулся на Алю, бывшую любовь, живущую через дом.

– Я ждала тебя, зайдёшь? – спросила она, прильнув и взяв под руку.

– Не сегодня, слишком занят, – я показал на папку с партитурой, какую должен проработать до вторника. – Завтра, у меня выходной.

Она выдохнула и спросила игриво, но с ноткой заинтересованности и желания, как может только шаловливая, себе на уме женщина: может ли быть хотя бы любовницей? Я ответил: «Может». Дома, в прихожей, меня встретила мама, она сидела на любимом своём стульчике и подала телеграмму, в ней было: «Я виновата, прости. Могу приехать сама. Ответь. Лена». Поцеловав маму, пожелал спокойной ночи и ушёл на кухню.

Я поставил чайник на плиту и закурил у открытой форточки. Наступала приятная пора, когда на время будто бы возвращалось лето, даже запах воздуха, деревьев, цветов, травы был не таким,

как ещё месяц назад, а с особым значительным вкусом, словно говорившим: ну что ж, жизнь идёт своим чередом и ещё будет много всего хорошего – только наберись терпения и жди. Дрожащей рукой я взял новую сигарету, раскурил её, надеясь, что никотин усмирит нервы, но поминутно, чуть не прыгая от радости, возвращался глазами к волшебной, заветной и бесценной стопке нот, зашнурованных белыми тесёмками. После заварил кофе и ушёл к себе вместе с дымящейся чашкой и потертой папкой с инвентарным номером на боку и названием балета, которым послезавтра буду дирижировать. По-рабочему, основательно, устроился за столом. Телеграмма от Лены так и осталась на кухне...

ЗАБЫТОЕ КРЕСЛО

Случается, отзвуки юного сердца, порывы души, быстрые суждения со временем делаются выпуклее, весомее и меняют человека, и толкают порой на неожиданные действия.

Августовским вечером у походного костра между учениками выпускного класса зашёл спор. Рая Гладких, староста, утверждала, что в семейных отношениях чаще ущемлена женщина, идя на уступки, а то и вовсе теряет себя как личность ради любимого. Глаза её блестели, поза, жесты, слова говорили о полном убеждении. Круг умолк, шумела где-то внизу речушка, метнулась невидимой тенью ночная птица, настойчиво и мерно вели свою песню цикады, какие-то необъяснимые звуки рождались и умирали, удивительно низкие

звёзды – хоть бери руками – висели мертво, точно приклеенные к небосводу. Казалось, вот-вот на огонёк либо снежный человек вышагнет из тьмы, либо неведомый зверь подкрадётся, а то – сядет у палатки, вроде так и надо, космическая тарелка; оттого сердца ребят и девушек бились сильнее обычного.

– Хотите доказательства? Извольте, – звонко сказала Рая и в горячности привела дюжину историй из жизни учёных, писателей, художников, музыкантов, политиков, настаивая, что при этом непременно один всего себя отдаёт ради благополучия, успеха, таланта другого, и чаще именно женщина.

Молодежь забурлила, заспорила, кто держал сторону Раи, кто – напротив, и незаметно разговор лег в единое русло: в современном мире вероятность жертвенности ничтожно мала, и она – удел немногих. Илья Невольский, худощавый, тонколицый, крепкий хорошист молчал. Взгляд его задержался на Рае, а сердце стучало мягко и приятно. Днём они рядом шли по маршруту, и на спуске, неудачно ступив, девушка почти упала на него всем телом. Запах её ярко-жёлтых с отливом меди волос вызвал сладкий трепет в груди парня и смутил... Они не сказали после друг другу ни слова, только отводили в сторону глаза. А сейчас Рая, чуть склонив голову, сузив глаза, вдруг обратилась к Илье так значительно и серьёзно, как будто что-то очень важное для неё решалось в эту минуту. Голос её слегка дрогнул, она сделала короткий шаг навстречу.

– А спорим, Илья, тебе слабо пойти на любые жертвы за другого? Ты слеплен не из того теста! – громко сказала она и обвела взором класс. Этот выпад вроде как ожидался. Глаза ребят сошлись на красивой фигурке, резкий поворот беседы напряг компанию. А Илья лишь закусил губу, как всегда, когда что-то обдумывал. – Пари?.. – закончила Рая и кинула к парню ладошку.

В этой смелой девчужке виделись явные лидерские качества, потому к ней тянулась школьная братия. И в любом собрании, походе, начинании она была первой или одной из первых. Как водится, писала стихи в тетрадь, грезилась о принце, а нравился троечник и лентяй Сергей, сосед по парте. Невольского же, приехавшего из края с иным укладом жизни, нравами и поведением, и тем уже не похожего на других ребят, не выделяла, даже сторонилась, принимая за высокомерного чужака. Но случай на маршруте, когда Илья обнял её, взволновал и не уходил из головы... Раин выпад посчитали задиристым жестом. Она, словно бы провоцировала парня, да готова была, кажется, рассмеяться и сказать, что пошутила, если тот выдумает какую-нибудь заумную отговорку. Девушка уже намерилась было отступить, однако Илья, тотчас встал во весь рост и протянул руку.

– Спорим! – уверенно произнёс он.

Их рукопожатие под общий шум и смех разбили.

– Осталось лишь сыскать объект, – сказал кто-то из темноты.

– Не сомневайся, поможем! – отозвались с другого края.

А Рая присела рядом с подругой Светой и странно умолкла. Народ оживился, опять взяли гитару, звёзды ласково мерцали, колыхалось пламя костра, юные глаза то вспыхивали, то тускли, высокое настроение владело всеми, как будто группка единым порывом вот-вот вознесётся в небо, и будет счастливо и безмятежно парить. А спор сам собою угас и забылся...

Лето, как водится, сдало вахту сентябрю. Илья тщательно готовился к выпускным, и в садовой беседке писал, чертил, решал пробники. В конце второй недели, теплым вечером, в соседнем дворе выкатили под навес кресло-коляску с женщиной, рядом поместили мольберт. Явление притянуло внимание, под каким-то магнетическим толчком Илья вышел из-за стола. Неожиданно порыв ветра сбил треножник наземь, и, как ни старалась колясочница дотянуться, вернуть сметенное, ничего не выходило. Тогда отбросила кисть и уронила голову на грудь. Нисколько не думая, одним махом, Илья взял невысокий частокол, легко, едва касаясь земли, покрыл отделяющие метры, прочно укрепил станок, подал кисточку. И в эту минуту по телу вдруг пробежала теплая волна, ударил пот, сердце сбилось с ритма, показалось даже, вот-вот остановится, Он поднял взгляд – чудным, непостижимым ходом создался, как будто из ничего, дивный образ: бледный, с тончайшими чертами лик, обрамлённый каштановыми, слегка вьющимися волосами, большими бровя-

ми. Плотная, точно из мрамора, одежда скрывала тело незнакомки, но, почудилось, она также прервала дыхание. И вдруг всё будто умерло – не трепетал лист, не уходило на запад светило, не ощущалось движение воздуха и привычные звуки куда-то исчезли. Остались только бессильное существо в железном устройстве с кистью в руке и он. Сознание Ильи мягко, но верно отметило, что палисадник, грядочки, дорожки, невзрачный домик, который раньше был не интересен, теперь милы, важны, дороги, – Спасибо, извините, – глухо выговорила женщина, не поднимая взора.

Невольский постоял с минуту и ушёл нетвёрдым, как больной, шагом. Сон в ту ночь долго не шёл к Илье – соседка-инвалид стояла перед глазами...

Утром спросил маму, что за люди.

– Новые квартиранты тети Дуси: мать и дочь 23-ёх лет...– услышал он в ответ. – А что? – Она внимательно поглядела на сына и добавила, что Лиза, так зовут молодую женщину, неплохо рисует и пишет стихи, с детства страдает тяжелой болезнью, оттого подолгу живёт в больницах. И закончила ровным, как всегда о важных делах, тоном. – Не забывай – год самый ответственный, а впереди – твоя мечта, сын, – московский химфак...

– Я помню, – спокойно ответил Илья. – Помню.

Вечер и последующий, и третий Илья провёл в ожидании нового события. Мысли, как под гипнозом, упрямо летели в сторону жилища с голу-

быми окнами и, отражаясь, возвращались назад, чтобы заново повторить маневр. Он листал учебники, тетради, кружил по саду, садился за стол, бесцельно вертел то ручкой, то карандашом, то циркулем и нетерпение молодости брало своё, существо другого пола манило, юная душа жаждала встречи. Однако прошло и три, и пять, и семь дней, а двор рядом, где теперь для него был собран весь мир, не подавал признаков жизни. День-деньской думы его были лишь о соседке, учился кое-как, точно на автомате, брел в школу и возвращался, слонялся из угла в угол, застывал, прислушивался, выглядывал в окно. Лишь на десятый день коляска заняла прежнее место. И тогда, осмелев, вступил на чужую территорию и предложил:

– А хотите проехать по улице, я справлюсь?

– Нет, – так же тихо, как и в первый раз, ответила больная. – Не хочу, чтоб видели... такой.

– А позже? – не отступал Илья.

Она подняла большие глаза, не мигая смотрела на него, будто желая убедиться, что и он, и предложение – явь, и, едва улыбнувшись сухими губами, кивнула. Когда стемнело, Илья вывез Лизу за калитку. Она сидела поникшая и скованная, сжав металлические ручки. Но от минуты к минуте смелее и смелее глядела вокруг, спина распрямилась, краска взяла лицо, сверкнули глаза. Лиза энергичнее толкала облучи колес, помогая ему, и было видно, что всю её охватило волнение – живое, деятельное, радостное. Точно узница, вырвавшись из многолетнего плена,

она жадно вбирала в себя мир. Илья предложил помощь: аптеки, магазины, работа по дому, поликлиника. Его порыв был с благодарностью принят, но встреч далее, увы, не было... Дважды к Лизе приезжала «скорая». Он не знал, что там, но догадывался – плохо... Маленькие окна с голубыми ставенками полно заняли ум, душу. Волнующе-сладкий приходил ночами образ: красивая женщина, с молодым стройным телом и лицом соседки. Он пробуждался, томление овладевало с ног до головы, жаждало выхода. И однажды, когда её мама вышла с хозяйственной сумкой, по-видимому, на рынок, Илья проник в дом. Тяжёлый дух, полумрак делали комнату тесной и угрюмой, а Лиза, бледная, с потухшим взглядом, была похожа на умирающую. Отметил странно-худые кисти рук с синими венами, тонкими жилками, костяшками пальцев, видимыми, как на рентгене, острые скулы, впалые щёки... Было во всем облике что-то пугающее, даже отталкивающее, но в то же время, прекрасное, тонкое, притягательное. Тело под плотной материей ожило, задышало, а щёки тотчас ярко порозовели. Сердце юноши сжалось, захотелось обнять её, взять, словно дитя, на руки.

– Простите, я хотел вас видеть... очень... – промолвил Илья. Лиза прикрыла глаза, и блестящая капелька скользнула из-под ресницы. – Я приду, если можно... ещё, – прошептал он, и тихо, с колотящимся сердцем, удалился.

С этого вечера он, словно заступая на вахту, с разрешения хозяйки, засиживался подле больной дотемна: читал, управлял радио, теле-

визором, давал микстуры, а Лиза показывала свои рисунки, стихи. «Я всё, всё ради неё сделаю» – про себя твердил Илья, отмечая каждую чётточку лица, изгибчик бровей, каждую линию милых губ. Глубже и глубже, словно в водовороте, погружался он в мир отшельницы. Жизнь его разделилась на «здесь» и «там». Там, в школьных стенах, нудно тянулось время, занятия как будто шли без его участия, и он вяло отбывал смену за сменой. Здесь же, в Лизиной комнатке витал дух тёплой дружбы, интереса и уважения, как в доброй семье. На стенах были развешаны её картины, в вазе – свежие розы с клумбы, шторы на окнах откинута, горела ярко люстра. Выплыли на свет украшения: медальон старинной работы, бабушкин, золотые с камушком серьги, следы косметики, запах духов... На третью ночь Лиза явилась ему во сне, они сблизились, переплелись руками. Илья проснулся, возбужденный, вперившись в темноту со сбившимся дыханием. И словно бы чувствовал тепло от её поцелуя на губах, и руки, вроде, как только что обнимавшие женское тело, подрагивали. Сбросил одеяло, стал на ноги, двинулся к окну, устремил напряжённые глаза к дому напротив – привиделось, там её тень. Обернулся – Лиза – красивая, ладная с плавной линией шеи, как на старинных портретах высокородных особ, будто плыла к нему, не касаясь пола... «Опять сон?..» Он тряхнул головой, хватил большой объём воздуха из форточки, видение пропало. Вернулся в кровать и без сил упал... За чаем

мама тихо спросила, не навредит ли его учёбе общение с Лизой?..

– Нисколько, – легко ответил Илья и, поцеловав маму, схватив портфель, убежал.

Вечером они с Лизой добрались к «Воротам любви» – сооружению из больших камней на холме, куда непременно являются молодожёны, и где окрестные кустарники увешаны разноцветными ленточками, а витая оградка – разного вида замочками. Долго смотрели на город, который уже дышал поздней осенью, на пороге зимы. Илья в волнении положил руки на её плечи, ветерок играл её красивыми волосами. Оба замерли.

– Может, вернемся? – осторожно спросил Илья.

– Нет, мне хорошо. Ах, жаль, нет красок!.. – выдохнула Лиза. – Смотри, какая прелесть – этот наш уголок, как будто между районов разлётся великан-путник: вон руки, вон голова, а ближе – слегка разбросанные ноги. Ты уловил? А я это вижу впервые. Чудно и смешно!..

– Да, – выдохнул Илья.

Лиза внимательно оглядывала гуляющих и сидящих на лавочках вокруг людей: молодых и в возрасте, с детьми и без, смеющихся и веселых, задумчивых и грустных, и улыбалась, с энергией, вся на подъёме сил, убеждала сама себя: я так же буду.

– Прохладно, – сказал Илья негромко.

– Ну и пусть, – Лиза прижалась щекой к его руке.

Всё теперь в ней говорило о любви: и взгляд, и плавные движения рук, и здоровое полное дыхание. Казалось, прикажи Илья встать, – и она легко отбросит подлокотники! Лиза привязала свой платочек к веточке сирени на счастье, прошептала что-то. Илья нагнулся, едва приложился щекой к её горячей щеке и почувствовал влагу слезы. Лиза тихо сказала: «Спасибо, спасибо тебе, Илюша...», ухватила его руку и так сжала, что дрогнула коляска, и он испугался, как бы не перевернулась. Зажглись фонари, медленно тронулись обратно. Возле церкви Святителя Николая Лиза вложила монетку в сухую руку старушки у паперти, и та странно посмотрела на неё, словно вопрошала: кто кому должен подать. Мягко ударил колокол, затем последовал ещё удар, другой, третий. Лиза – А знаешь, что он говорит? – И, не дожидаясь ответа, продолжила: – Пока я звоню, пусть далеко отступят огонь, град, молния, зараза, меч, сатана и злой человек. Да будет так, аминь...

Лишь в декабре, Илья, счастливый и сильный, за две недели наверстал упущенное по предметам, закончив полугодие без троек. Как-то у раздевалки его остановила Рая Гладких.

– Поздравляю, – тепло проговорила девушка, – рада за тебя. Послушай, Илья... – Она умолкла, как будто решая, продолжить или нет, но заговорила далее, не поднимая глаз. – Я знаю о девушке-инвалиде. Ты выиграл пари, а я... ошиблась.

Илья приобнял девушку, сказал, что видит в ней добрую подругу.

– Я объявлю классу.
– Не стоит.
– Как скажешь... Хорошо, что у тебя появился такой... такая...
– Да, я очень рад. И мне хорошо с ней...
– Слышала, нацелился на химфак в Москве? – тихо спросила Рая и неожиданно приложила теплые ладошки к его лицу, замерев на мгновение, затем легонько оттолкнулась, вздохнув. – Я – тоже... тоже... Тогда, может, пересечёмся в столице, чужак? И держись...

Между тем Лиза загорелась идеей сделать выставку картин, снабдив стихами, похорошела, даже смеялась чаще – ни дать ни взять – здоровая сильная женщин, способная любить и быть любимой. ...А через неделю с грустью объявила, что едет в клинику, на очередное лечение.

– Ты будешь думать обо мне? – накануне спросила она несмело.

– Конечно. – Илья опустил на колени, приник к её горячей руке губами.

Тут вошла Лизина мама и значительно, с улыбочивым лицом поглядела на юношу. А когда уходил, спокойно и выверено, как будто давно заготовила, недобрым тоном высказалась: «Напрасно хочешь оживить мумию, надежд нет. Не делай последнего шага, парень, не привязывайся сам и не привязывай её к себе. Пожалей нас...» Тяжёлые слова легли в юную душу неприятным грузом. Илья еле сдержался, чтобы не огрызнуться, не нагубить, но сдержался, про-

молчал и ушел, не простившись. Долго бродил по улицам, рассуждал, как будто даже разговаривал с Лизой, не понимая, как может быть: «надежд нет...»

У дома дождался, пока в комнате мамы погас свет, посидел в беседке, любуясь снежинками и белой, искрящейся под светом уличных фонарей землёй. Верил, что будет всё хорошо: его Лиза встанет на крепкие ноги, как все...

Ей он писал каждый день: желал скорого выздоровления, делился школьными новостями и получал горячие сердечные ответы с рисунками, шаржиками и стихами. Одно время сообщений не было, но затем они посыпались часто и помногу. Так летели дни, недели, замаячили на горизонте весна и прощание со школой. По возвращении Лизы, в первую же ночь он влез к ней в окно. Тело нерожавшей женщины, измученное долгим недугом, страстно жаждало любви и получила её.

– Теперь можно и умереть, мой добрый мальчик, – прошептала она, целуя Илью. – Я открою тебе тайну... – Она достала из тумбочки книжицу со стихами и фото. – Это моя тёзка, английская поэтесса Элизабет Браунинг, прикованная болезнью к постели, как и я. В тридцать девять лет она полюбила и поднялась, и родила. Но любимый, гораздо младше её, вскоре охладел к жене. И это убило женщину. Послушай, она пишет, сравнивая себя с розой: «О, роза бедная!.. От прошлого осталось только имя – былой красы давно уж нет в помине!..» Думаю, у нас будет иначе!

– Конечно, – горячо поддержал Илья. – Мне нравится это имя. Можно я буду звать вас...тебя так?

– Ах, мой добрый Илюшенька, – она обняла Илью и прижала к груди. – Ты не знаешь, что есть любовь такой женщины, как я. Так можно любить только раз...

На следующий день Лиза вдруг захотела нарисовать его портрет, сказала, что на память.

– Зачем, Лиз? – возразил Илья. – Ведь я рядом.

– Я так хочу, подай бумагу.

– Но света мало...

– Достаточно, – упрямо настаивала она. – Сядь под абажуром, смотри на меня. – В голосе обнаружился металл, она сузила глаза, не отрывая от Ильи взгляда. И сосредоточенно взяла карандаш.

– Ну, хорошо, как пожелаешь, – согласился Илья с улыбкой и устроился на табуретке.

– У тебя зеленые обманные глаза, – проговорила она задумчиво, делая первый штрих.

– Почему же обманные, Лиз?

– Не знаю. Так говорят.

– Они, как у мамы...

– Значит, ты похож на неё?.. А отец?

– Папа умер давно.

– А я своего не знаю и знать не хочу. – Она напряглась, бросала то к нему, то к рисунку взгляды. Сквозь зубы продолжила. – Исчез, как только узнал мой диагноз. И денег от него мама никогда не брала.

Слышался шорох грифеля по листу, несколько раз просигналили часы на кухне, и вскоре за окном лег вечер.

– Ты отменный натурщик, Илья, – она наморщила носик, тряхнула волнистыми кудрями. – Я уловила всё, что хотела. С этого эскиза сделаю портрет маслом на память. Увидишь скоро...

Весна пришла в город быстро и весело с капелью, оттепелями и легким шаловливым снежком. Близилась экзамены, Илья записался на подкурсы, и вопрос о московском химфаке был решён. А мама настояла, чтобы Илья рассказал о своих планах Лизе.

– Это будет по-честному, по-мужски... – сказала она. – Обещай.

Илья дал слово и, наконец, решился и в воскресенье, перед уходом, осторожно заговорил об учёбе. И тут с Лизой внезапно сделалась истерика, прибежала мать, испугалась, вызвала неотложку. Илья, дрожа, стоял у стены, не зная, что делать.

– Что ты натворил, поганец? – закричала мать Лизы, удерживая бьющееся тело дочери. – Ведь я просила! Прочь, уйди!..

Только через неделю эта несчастная женщина сама пришла за ним.

– Иди, зовёт, – процедила она сквозь зубы...

Илья тихо втиснулся в приоткрытую знакомую дверь. Лизин взор был тусклым, ноздри трепетали сильно и неровно. Илья молча замер. Тикали ходики сзади, сильнее чувствовался запах лекарств, комната едва освещалась.

– Ты бросаешь меня... – наконец, проговорила Лиза тихо. Лицо исказилось в жуткую гримасу, уголки рта сникли, губы дрожали, в глазах замерло смертельное отчаяние.

– Лиз, Лиз... – он кинулся к ней. – Глупенькая моя, как могла такое подумать... Я считал, обрадуешься.

Он уверял, что ничего не изменится, что по-прежнему будут вместе. Однако Лиза была глубоко удручена и подавлена, уловив, по-видимому, женским чутьём размер беды, и поняв с ужасом, что именно сейчас, как назло, когда на вершине счастья, её планы, надежды рассыпаются в прах; нервно упрекала, что стал равнодушен, что не любит, не слушала его возражений.

– Нет, нет и нет! Я знаю, так будет, – только и повторяли её сухие губы.

Они впервые поссорились... Но быстро помирились, Лиза попросила зеркало, привела себя в порядок, повеселела и захотела шампанского. Мать, косясь на гостя, молча приготовила стол. Да осадок от размолвки был глубок и неприятен. Илья не знал, как вести себя. Лиза смотрела будто бы теми же глазами, но виделся в них холод, не писала стихов, отказалась от выставки, стала нервной, раздражительной, и свидания были почти безмолвными... «Теперь я верно знаю, что история Элизабет Браунинг повторится со мной. И моя роза завяла...» – часто шептали её уста. И попытки переубедить были напрасны...

Дом Илья покинул с тяжёлым сердцем. Начались испытания, он слал Лизе телеграммы, сооб-

щения, да не получал ни единого слова в ответ. И звонки его не принимались. Он решил действовать через маму, но она уехала погостить к старшему брату. И оказался в изоляции, не зная, что и как у соседей... Виделись недобрые сны, экзамены отнимали много сил, не высыпался, мысли о Лизе боролись в нём: и винил себя в том, что случилось, и оправдывал, и чувствовал что-то ложное, нечестное в своём положении, внешне как будто приличном. Столица иногда развеивала смутный настрой души. Он оказался в одной группе с Раей, они подружились, вместе проводили выходные, ходили в кино, в музеи, а то гуляли по Тверскому бульвару, по Арбату, по ВДНХ. Илья все больше и больше влюблялся в этот чудный город. Рая была внимательна и ненавязчива. Наконец, в день последнего экзамена, пришло сообщение от мамы: Лиза допустила передозировку лекарств, её жизнь на волоске...

Илья действовал быстро, не дожидаясь решения приемной комиссии, собрал рюкзак, сдал книги в библиотеку, отчитался перед комендантом. На пороге общежития его догнала Рая.

– Еду обратно, – сказал он, пытаюсь обойти девушку.

– Зачем?.. Что произошло?

– С Лизой плохо...

– А итог? Ты должен узнать результат, – настаивала Рая.

– Я прохожу по баллам... Пришлют письмо, как обычно...

– Но может быть ошибка, что-то дома напутали... И ты... ты всё, что мог, сделал для неё.... – горячилась она.

– Я – подлец... как можно было оставить ее...

– Не кори себя. Пойдём ко мне, тебе нужно снять стресс.

– Нет, я должен быть там, – ответил Илья.

– Она же больная старуха, зачем такая тебе? – Рая держала его крепко за руку, прижав к стене, и говорила, говорила, выбрасывая слова, и они весомо били его в грудь. Это уже была не та девчушка, озорная и добрая, душа компании и заводила: гневное лицо, глаза, мечущие молнии, резко поменяли образ. – Через десять, нет, через пять лет ты возненавидишь её... Пойми!.. Не уезжай, Илюша, умоляю. Я... я люблю тебя, ненормальный...

Илья взял её за плечи и несильно встряхнул.

– Спасибо за поддержку. Прощай!.. – проговорил он и двинулся прочь.

В поезде Илья часто справлялся, не опаздывает ли, ходил по вагону и думал, думал, рисуя будущее, что станет учиться заочно, работать и быть с Лизой.

«Скорее, скорее, скорее!..», – мысленно подгонял он себя, когда, наконец, ступил на знакомый перрон. Он почти бежал, неся осторожно букет красных роз. Луна плыла над ним, то скрываясь, то являясь вновь, а когда свернул на свою улицу, дрожь в теле уже сдержать было нельзя. «Иду, иду, Лиз, уже скоро...» – стучало в голове. Зем-

ля под ним мчалась чёрно-серой лентой, один за другим появлялись и исчезали дома, ветер охлаждал лицо, а ноги, не слабея, несли и несли вперёд.

Вот и милый контур строения с белым номерком и голубыми ставенками, которые были плотно сомкнуты. Впрочем, как всегда... Илья откинул вертушку, толкнул калитку. В саду резкие тени деревьев увиделись холодными и мрачными. Душа его обмерла. От крыльца пахло каким-то нежилым духом. И дом был чёрен и тих, точно нежилой. С бьющимся сердцем, быстро поступил к Лизиному окну и тихо, одним пальцем стукнул условным сигналом в деревянную створку. Немного подождал и нервно, настойчиво повторил удар и два, и три раза. Лишь тонко отозвалось эхо – по ту сторону явно не было ни одной живой души. Илья оглядел двор. Под навесом, криво уткнувшись в угол, стояло забытое кресло Лизы. Дверь на веранду оказалась приоткрытой. Он заглянул внутрь. Посредине, лицом ко входу был установлен знакомый трёхногий мольберт, а на нём – его портрет красками в лакированной массивной раме...

Звучит забавно – русский грек,
а с виду – вылитый абрек,
ещё немного польской крови
и сильно сросшиеся брови.

Всему, мой глупенький сынок,
найдётся место в этой жизни.
Вот головастики без ног.
Вот омерзительные слизни.

Вот нарезает хитрый кот
круги у рыбного прилавка,
и птичка песенку поёт,
и сквозь асфальт пробилась
травка.

Их тоже обижают люди.
Но и таких ведь кто-то любит.

Человеку снится сон,
будто он уже не он.
Жуткий сон в потёках воска,
что без лошади, без войска,
с непокрытой головой
он лежит, ну как живой,
под горой у Пятигорска.



**Станислав
ЛИВИНСКИЙ**

Поэзия



Только дырочка в груди
с аккуратными краями.
Только свет в конце пути
в свежевыкопанной яме.
Упадёт на землю листик
и обнимется с травой.
Вот набросок черновой,
остальное сам домысли.

Как теряется тропа,
потакая злему року,
и брюхатая арба,
переваливаясь с боку
на бок, медленно ползёт,
и перебегает кот
перед всадником дорогу.

Как прозрачна и легка
говорливая река.
И ожившие вершины
на горбах издалека
снег везут и облака.
И горяночка с кувшином
дразнит сердце казака.

Кто в кишлаке, а кто в ауле
искал отечества химеру,
глотал свинцовые пилюли,
переходил в чужую веру.

И на просторах Дагестана
искал божественную Бэлу.
И для кого дымилась рана,
и кто уже прощался с телом.

Мы ж, не носившие афганки,
их братья младшие, живые,
пусть на уме – одни гулянки,
любовей раны ножевые.

Составим заново цепочку –
обычную, не золотую.
Горячая остынет точка
и превратится в запятую.

У дивана вместо ножки
небольшая стопка книг.
Говорят – просил морошки,
успокаивал родных.

Я и сам бы, зная прикуп,
четверых бы нарожал,
обратясь к святому лику,
жёнку за руку держал.

Чтоб у церкви схоронили,
ничего, что там песок.
Чтобы крестик на могиле
был – не низок, не высок.

Привезли б землю, доски
в годовщину бы мою,
посадили там берёзку,
сколотили бы скамью.

Снег, похожий на парашютиста,
ставшие стоянками дворы...
Тоже мне зима-аккуратистка –
разбросала всюду хархары.

Ледяным поводит стеклорезом,
говорит красивые слова.
Снег идёт над городом и лесом:
не поймёшь – где хвост, где
голова.

Снег идёт и люди, как статисты,
хлопают глазами каждый миг.
Мнит себя заправским
теннисистом
мальчик, выбивая половик.

Хоккеистов красочные крики,
пять минут осталось до конца.
Человек несёт на свалку книги,
он похоронил вчера отца.

Всё как обычно, без эстетики.
Цыганки, пьяницы, букетики.
Пасхальный дождик обложной.
Вдали шумит канализация
и тополь рядышком с акацией,
как муж с красавицей женой.

И богомольцы и безбожники,
и даже хам на внедорожнике
придут сюда, в конце концов.
Кто налегке, а кто с лопатками,
чтобы ухаживать за грядками
своих любимых мертвецов.

А после – старые и малые –
они усядутся усталые,
достав яички и лучок.
Газетку вынут вместо скатерти,
и будет сын грустить о матери,
дав попрошайке пятак.

Из пустоты, из тьмы и праха –
луна и зной, мороз и солнце.
Земля замрёт, и черепаха
под ней устало повернётся.

Держись, дружок. Такие страсти.
Там по тебе подруга сохнет.

Чуть обновить, слегка подкрасив,
закат и ждать, пока подсохнет.

И ждать, когда навалит снега.
Потом – весна: за всё расплата.
И плот Мазаева ковчега
выносит зайцев к Арарату.

Чирик-чик-чик. Грачи. Саврасов.
Ты помнишь это сочиненье?!
Учительница младших классов,
букет классической сирени.

И что-то в воздухе витает,
а что – не знаешь ты наверно,
и ветер вдумчиво листает
библиотечный том Жюль Верна.

Повсюду радостные лица
и указательные стрелки.
Когда-то снова повторится
жизнь между соскою и грелкой.

Она когда-то повторится,
мелькнувши рифмою глагольной.
Терпи, терпи, моя страница,
я знаю – это очень больно.

Земля то тронется, то станет
в межгалактическом заторе.
Кого-то, видно, пропускает
на светофоре.

ПУШКИН И ОЛЕНИНА

Рассказ

...Пушкин встретил Оленину на балу у графини Хитрово, вернувшись из ссылки в 1827 году. Его везде благосклонно принимали, восхищались его «Русланом» и «Цыганами». Он видел Анну ещё маленькой девочкой, когда бывал после окончания лицея на Литературных вечерах у Алексея Николаевича Оленина, президента Академии Художеств, директора Публичной библиотеки и члена Государственного совета. Она была младшим поздним ребёнком в семье, и все её баловали. Но сейчас Анне 19. Изящная кокетливая девушка с огромными глазами и золотисто-русыми волосами. Фрейлина императорского двора и дочь известного всему Петербургу человека, она держалась уверенно и непринуждённо. Пушкин видел, как легко она



**Алла
ХАЛИМОНОВА-
МЕЛЬНИК**

Проза



порхала в танце, следил за её маленькими ножками, скользящими по паркету. И конечно, пригласил её на мазурку. Анна опустила глазки, но заметила, с какой завистью смотрят на неё дамы и девицы. Многим хотелось быть на её месте. После танца Пушкин, не сказав ни слова, проводил её на место. Такая холодность была неприятна маленькой жеманнице. В следующий раз она уже сама пригласила Пушкина. После бала у Хитрово Мари, подруга Аннет, спросила:

– Как тебе Пушкин?

– Он так самолюбив! И дерзко смотрит на женщин, которые ему нравятся.

Анна лукавила. Поэт понравился ей. В больших голубых его глазах был виден ум, хотя некая насмешливость, как тень, порой мелькала в них.

Потом они несколько раз встречались в свете. «А как хороша малышка Оленина!» – говорил Пушкин приятелям. «Будь внимательнее, она не так проста», – отвечали опытные ловеласы. А поэт уже никого не слушал. Он рисовал на полях рукописей профиль Аннет Олениной, писал по-французски «Аннет Пушкина». Одним словом, пропал. Но ему было уже 28, пора бы остепениться. И он стал серьёзно подумывать о женитьбе.

...Весна пришла как-то внезапно. Быстро растаял снег, и солнце ласково сияло в петербургском небе. Поэт не любил весны, но в этом году сердце его будто оттаяло, чувственные губы улыбались, и верилось, что счастье обязательно постучится в его дверь. Он часто бывал у Олениных. В апреле они с Вяземским с удовольствием

отплясывали у них на вечеринке, а 2 мая их пригласили на день рождения хозяйки дома Елизаветы Марковны. После поздравлений, застолья и карт Вяземский предложил:

– А давай поиграем в кошку и мышку.

– Это как? – вопросительно поднял брови Пушкин.

– Будем волочиться за Зубовой-Щербатовой, которая похожа на кошку, и малюткой Олениной, которая мала и резва, как мышь.

Время пролетело весело и незаметно. 5-го мая на балу у Мещерских Вяземский танцевал с Олениной и хвалил её кокетство. Пушкин ревниво насупился.

– Что ты, радость моя, делаешь вид, что влюблён? Не злись и не ревнуй, я же не ревновал, когда ты давеча совершенно отбил у меня Закревскую.

Вечером поэт написал первое посвященное Аннет стихотворение. «Вы избалованы природой...» Он думал только о ней. Весёлая, умная, улыбающаяся, она поселилась в его сердце.

Всё шло хорошо, как по нотам. Он красиво ухаживал, дарил цветы, говорил что-нибудь приятное. В мае 1828-го года они часто встречались в Летнем саду. Анна жила рядом и приходила в сад то с англичанкой-гувернанткой, то с другом дома Крыловым. А Пушкин, обычно с Вяземским или Плетнёвым, уже прогуливался по тенистым аллеям. Если Олениной долго не было, он нервничал: «А где же Бренский? Что-то я Бренского не вижу!» Бренским для конспирации называли Аннет. И вот, наконец, она появлялась в конце

аллеи. Вяземский, раскланявшись с Крыловым, затевал какой-нибудь долгий разговор. Пушкин же, подмигнув Аннет, брал её за руку и отводил в укромный уголок сада. Читал стихи, острил. Анна слушала и смеялась. Пушкин умел нравиться, когда хотел.

9-го мая Алексей Николаевич Оленин пригласил Пушкина участвовать в поездке по Финскому заливу с английским художником Джорджем Доу, который хотел познакомиться с известным русским поэтом. Доу жил в России и писал портреты героев Отечественной войны для Военной галереи Зимнего дворца, был первым художником императорского двора. Погода выдалась ясная и солнечная, волны слегка покачивали судно. Кроме матросов, на борту было всего несколько человек: Оленин с сыном и дочерью, Пушкин и Доу. Поэт не сводил глаз с девушки. Она мечтательно смотрела на морскую гладь, а лёгкий ветер играл её локоном. После обычных светских разговоров о политике, о работе Доу, художник попросил Пушкина по возможности не двигаться, чтобы сделать несколько набросков.

– У вас очень выразительное лицо, господин Пушкин. Вы позволите мне запечатлеть его?

– Конечно, но как можно рисовать меня, когда на борту такие красавицы!

А вечером поэт написал, обращаясь к художнику:

*Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?..
Рисуй Олениной черты.*

...В середине мая Оленины переехали на дачу в Приютино. Усадьба под Петербургом гостеприимно распахнула двери. Убрали вторые рамы, открыли окна, и дом наполнился свежим весенним ароматом. Елизавета Марковна словно ожила, давая указания прислуге, срезая цветы для букетов. Она любила Приютино, своё детище, в которое вложила много сил, где росли её малыши.

Они с Алексеем Николаевичем завели такой обычай: когда родившийся ребёнок становился уверенно на ножки, на поляне всей семьёй высаживали дубок, причём малыш тоже принимал в этом участие. Со временем на поляне появилось пять красивых дубов. Они росли, побеждая и зной, и холод, и бури. А потом наступил 1812, тяжёлый для России год. Старшие сыновья ушли на войну. И накануне Успения у Елизаветы Марковны вдруг закружилась голова, кольнуло в сердце. «Что-то случилось», – подумала она. И встала на молитву. Потом она заметила, что дубок Николая, старшего сына, стал как-то желтеть и сохнуть. Ко дню её именин, 5 сентября пришло известие о том, что Николай погиб смертью храбрых в Бородинском сражении. Дуб вскоре засох. Его спилили и на этом месте поставили камень, на котором была выбита сочинённая Гнедичем надпись:

*Здесь некогда наш сын дуб юный возвращал:
Он жил, и дерево возрастало.
В полях Бородина он за отчизну пал,
И дерево увяло!
Но не увянет здесь дней наших до конца
Куст повилики сей, на камень насажденный;*

*И с каждою весной взойдёт он, орошенный
Слезами матери и грустного отца.*

Елизавета Марковна, как всегда, пришла к памятному камню, поплакала, вспомнила милого Николеньку. Остальные дубы зеленели и весело шумели кронами. «Что будет с ними?», – подумала женщина. Но пора было возвращаться...

Господский дом, флигели для гостей, хозяйственные постройки – в идеальном порядке. Возле дома лужайка и цветники, большой парк, пруд. Здесь всё было своим, дышалось легко. Аннет сразу побежала в конюшню, где ждал её любимый Воронок.

– Ну что, соскучился?

Она потрепала коня по загривку, дала ему морковку, посмотрела в ласковые карие глаза. Конюх оседлал Воронка, помог ей сесть в седло, и Анна быстро и уверенно поскакала по аллее. Она была прекрасной наездницей. А Елизавета Марковна уже обсуждала с кухаркой Танюшей, что приготовить в воскресенье.

20-го мая с утра стали съезжаться гости. Для Олениных это был привычный круг: Крылов и Гнедич, Пушкин и Глинка, Грибоедов и Серж Голицын. К обеду приехали Варвара Дмитриевна Полторацкая с Николаем Киселёвым. После обеда и разговоров каждый занялся тем, что ему нравилось. Крылов дремал в большом кресле, Глинка играл что-то на рояле. Грибоедов, недавно побывавший в Грузии, напел ему грузинскую мелодию, и композитор стал её искусно обрабатывать. Мелодия была печальная и запоминающаяся. Аннет,

очень музыкальная, с красивым чистым голосом, стала подпевать. Пушкин, сидя за столом и облокотившись на руку, с любовью смотрел на девушку. «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...» – родились первые строки стихотворения. Алексей Николаевич с Елизаветой Марковной удобно устроились на диване, с удовольствием наблюдая за молодёжью.

На улице послышался шум приближающегося экипажа.

– Это, наверное, Вяземский. Идёмте, встретим его, да и воздухом подышим.

Елизавета Марковна вышла на террасу.

– Как ночные фиалки пахнут! Как свежо и приятно!

На улице было светло, хотя вечер уже наступил. Вяземский с Мицкевичем шли по аллее.

– Люблю бывать здесь. Красивые места, чудная компания, – говорил Вяземский. – Но комары делают из этого места сущий ад. Никогда не видал подобного множества. Здесь поневоле запляшешь комаринскую.

И, подходя к дому, он стал обмахиваться руками.

Пушкин, нещадно искусанный комарами, сидел на скамейке, повторяя: «Сладко...» Вяземский посмотрел удивленно: что это с ним? И только Аннет понимающе улыбнулась. Когда они выходили на террасу, она обмолвилась и по ошибке сказала Пушкину «ты». Поэт сжал её руку, подумав, что расстояние между ними начинает сокращаться. Весь вечер он улыбался и был

в прекрасном настроении. Через неделю в альбоме Олениной красовалось пушкинское: «Пустое вы сердечным ты она, обмолвись, заменила...»

Поздно ночью гости разъехались.

На другой день к обеду пришло письмо от Вяземского, адресованное Пушкину, который остался в Приютино, и Алексею Оленину-младшему с предложением устроить прощальный пикник и списком предполагаемых участников:

Алексей Оленин-младший [75],

Грибоедов,

Киселёв,

Пушкин,

Князь Сергей Голицын –

Шиллинг,

Мицкевич.

Это был дружеский круг близких по духу людей. Пушкин одобрительно написал: прочитал и лапку приложил.

Собрались 24-го на петербургской квартире Олениных. Вина и закуски были изысканными. Под рюмку хорошего вина и разговаривать приятнее. Русская литература и зарубежные новинки, проект нового литературного журнала, политика... Обо всём этом можно было говорить часами. И конечно, женщины, куда же без них. Речь коснулась и женской поэзии. И тут все взоры обратились к Пушкину.

– Женская поэзия? Да такого понятия не существует! Природа, одарив женщин тонким умом и чувствительностью, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не

досягая души; они бесчувственны к ее гармонии. Примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия. Исключения редки.

Пушкин знал, о чём говорил. Нередко дамы показывали ему свои вирши, совершенно беспомощные.

– Позволю себе не согласиться с таким резким суждением, – произнёс Грибоедов. Уверенный в себе красавец, дипломат, музыкант и литератор, он будто светился изнутри от счастья. Скоро должна была состояться его свадьба с грузинской княжной Нино Чавчавадзе. Оказавшись по делам в Тифлисе, он зашёл к своему знакомому князю и увидел Нино. Юная девушка была так прекрасна, так мила, что Грибоедов влюбился с первого взгляда. Через несколько дней он сделал предложение.

– Ах, милый, твоя Нино – просто ангел. Не сомневаюсь, что она во всём – совершенство.

– А Закревская?

– Ты отстал от жизни, дорогой. Наш Пушкин теперь волочится за Аннет Олениной и кажется, что всё серьёзно.

Пушкин перевёл разговор, не хотелось касаться того, что так сокровенно.

– Друзья мои, я недавно долго жил в своём имении и пришёл к выводу, что в провинции больше занимаются словесностью, чем в

Петербурге. Думаете, отчего мы с Вяземским так любим уездных барышень? Они – наша настоящая публика. Они и стройны, и странны – мужчинам только того и надобно.

При этих словах все заулыбались и подняли бокалы.

– За наших уездных барышень!

– Да, – задумчиво произнёс Киселёв, – в них есть что-то живое, добродородное, как там говорят, снисходительное. Они слушают и понимают – редкое достоинство в наших женщинах. В порядочных женщинах.

А Пушкин добавил:

– Больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее.

Выпили и за гризеток. А дальше начался такой вольный (или фривольный) разговор, что он касался только мужских ушей.

...25-го мая, в пятницу, почти вся эта дружная компания ездил в Кронштадт. Не было только Мицкевича и Сержа Голицына. Но зато к ним присоединились Оленин старший и Аннет. В Кронштадте осматривали часть флота, которая выступает в море. Потом открыли шампанское и выпили за здоровье Пушкина, у которого завтра был день рождения. Выехали при благоприятной погоде, но на обратном пути поднялся ветер, полил дождь, разразилась такая гроза, что народ засуетился, кинулся в каюты. Веселой поездки не получилось. Но больше всех страдала молодая красивая англичанка. Она с мужем, советником

английской миссии в Персии, прибыла накануне из Лондона и очень плохо переносила шторм. Её любящий муж заботливо ухаживал за ней, не покидая ни на минуту. У неё было удивительно милое и выразительное лицо. «Не женщина – а живописная мечта», – произнёс Вяземский. Пушкин вздохнул. Что-то не ладилось у него в отношениях с Анной. Она была то весела и приветлива, то холодна и равнодушна. А он так старался влюбить в себя малышку! Иногда, чтобы вызвать ревность Аннетты, ухаживал при ней за Закревской, а потом, как бы невзначай, шептал ей на ушко нежности. Она улыбалась, слушала. Неужели всё было игрой?

26-го мая, в свой день рождения, Пушкин написал одно из самых мрачных своих стихотворений:

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?*

Летом 1828-го года Пушкин серьёзно думает о браке с Олениной. А в это время тучи вновь сгущаются над поэтом. 11-го июня Департамент гражданских и духовных дел имел суждение о распространившемся ненапечатанном отрывке Пушкина из элегии «Андрей Шенье». А 28 июня Государственный совет выносит решение учредить за Пушкиным секретный надзор, и Алексей Николаевич Оленин подписывается под этим определением.

Придя домой и поцеловав жену, он попросил её пройти в кабинет.

– Лизонька, мне надо поговорить с тобой об Аннете. Где она, кстати?

– Да поехала верхом на Воронке. В чём дело, Алексей Николаевич? Давно не видела тебя таким расстроеным, друг мой.

Они прошли в кабинет, чтобы никто не мог помешать серьёзному разговору.

– У нас сегодня было заседание Госсовета. За Пушкиным учредили секретный надзор.

– Что он опять натворил?

– Да это по поводу стихов.

– Ты прости меня, мой друг, но он мне всегда не нравился. А сейчас с Анеточки глаз не спускает. Видно, скоро свататься придёт.

– Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, душа моя. Ты как-то втолкуй ему, что он нашей дочери не пара. Да, он гениальный сочинитель, но беден, неблагонадёжен, игрок. Он не сможет обеспечить Аннете достойное существование. Да мне кажется, что он ей и не нравится.

– Поговорю, Алёшенька, и с ним, и с ней. Ты не волнуйся. Всё уладится.

...В начале июля после обеда Аннет разговорилась с Иваном Андреевичем Крыловым.

– Милочка, я думаю, что Двор вскружил вам голову и что вы пренебрегаете хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала.

– Что вы, Иван Андреевич, я не простираю так далеко своих видов, я вышла бы за Мейендорфа или Киселёва, хотя и не влюблена в них. Вы же согласитесь, что они – не такие уж большие партии, и уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или Пушкина.

– Боже избави, но я желал бы, чтобы вы вышли за Киселёва и, ежели хотите знать, он сам

того желает. Но он и сестра говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин и не скрывает своего намерения на вас жениться.

Это было для Аннет новостью. Она не знала, что Киселёв любит её. «Ну что ж, – подумала девушка, – Бог решит судьбу мою. Я сама вижу, что мне пора замуж: я много стою родителям. Пора, пора мне со двора».

...А время летело незаметно. В Приютино часто бывали гости, а Крылов с удовольствием жил здесь всё лето, у него даже была отдельная комната, которую называли «крыловской кельей». Он работал в Публичной библиотеке, директором которой был Оленин, и его считали почти членом семьи. У него своей-то не было. А в Приютино душевно, спокойно, да и кормят всегда отменно. Елизавета Марковна называла усадьбу «приютом для добрых душ». Всё было по-простому, без церемоний.

В июле в усадьбе появился новый гость. Анна познакомилась с ним у тётушки и пригласила в Приютино. Молодой казачий офицер Алексей Чечурин был высок, хорош собой и очень наивен. Аннет расспросила его о том, чем он занимается. И он рассказал ей о своей жизни.

Чечурин служил в Сибири. Когда он совершал «объезд по городам» с иркутским губернатором, побывал и на границе с Китаем, и в Чите, где видел «всех». Аннет произнесла взволнованно:

– Не рассказывайте это никому, вам может быть худо.

– Но я же не сделал ничего недостойного.

– У вас есть родные. Ежели не для себя, то для своих близких будьте осторожнее.

Казака тронуло такое беспокойство девушки. Когда он стал своим человеком у Олениных, любопытная Анна спросила: какое первое впечатление она произвела, когда встретил её у тётушки и не знал, кто она.

«Вы взошли в комнату и удивили меня вашим станом. В вас не видно было того несносного жеманства, которое так не нравится мне в других. Когда я спросил, кто вы, – мне сказали, что вы – Оленина и фрейлина! Я этому не хотел верить, потому что мне раньше сказали, что все фрейлины стары и дурны. Наконец вы пошли гулять. Скучая быть с людьми, с которыми я не любил сообщества, и помышляя о любезном крае своём, я пошел в сад и услышал милый голосочек ваш: “Пожалуйста, пойдите сюда”. Вы стали со мной говорить и так пылко, искренно, так чувствительно, так умно, что я подумал: “Так молода, а как разумна, какая искренность, какая доверчивость, боится, чтобы незнакомый ей человек не подвергся опасности, и остерегает меня против дурных людей”. Всё это удивило и восхитило меня. Я узнал, что в вас есть душа, чувствительность и что лицо ваше не обмануло меня. Я не могу описать, что чувствовал, смотря на вас. Но мне кажется, что свет вас немного избаловал, Анна Алексеевна, и что вы любите всю эту пустую услужливость ваших молодых людей. Она испортит вас.

– Не бойтесь, я уже привыкла к этому и не свернуть мне так скоро голову! Завтра посмотрите, как я обращаюсь с ними.

Этот разговор состоялся накануне дня рождения Аннет 10 августа.

*«И вот багряною рукой
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собой
Веселый праздник именин».*

Аннет проснулась рано. Ей исполнилось 20 лет. «О Боже, как я стара! Но что же делать?» А надо было собираться, наряжаться и готовиться к встрече гостей. Их в тот день было больше обычного. За обедом все поздравляли прекрасную именинницу. Она краснела, благодарила. Потом играли в барры, пели. Героем дня был молодой Чечурин, который покорила всех женщин. А что же Пушкин? Аннет почти не упоминает о нём в письме к подруге после именин. Говорит только о том, что поэт влюблён в Закревскую.

У Пушкина опять непростые времена, его накануне вызывали к петербургскому военному губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову. Но всё обошлось. И он решил, что пора сделать Аннет предложение.

Он приехал через несколько дней после именин нарядный, собранный, серьёзный. Алексей Николаевич был в отъезде, и Пушкин столкнулся с Елизаветой Марковной. Едва он произнёс дежурные любезности и начал говорить о деле, как женщина перебила его.

– Я знаю, голубчик, о чём вы хотите поговорить. И скажу вам сразу: никогда мы с Алексеем Николаевичем не дадим согласие на ваш брак с нашей дочерью. Ваши бесконечные кутежи, игры, интриги, безалаберный образ жизни не

сделают её счастливой. Я прекрасно знаю о ваших связях хотя бы от Анны Керн, моей племянницы. Не судите меня за то, что я строга с вами, но я в ответе за свою дочь.

– Могу я поговорить с Аннет?

– В этом нет смысла, она скажет вам то же. Вы можете к нам приходиться, но к этому разговору мы больше не вернёмся.

– Я вас понял, позвольте откланяться.

Пушкин ушёл. Он не ожидал такого строго отчитывания. Некоторое время ему не хотелось никого видеть. Потом пустился во все тяжкие, стал играть и проигрывать все свои деньги. И только когда боль утихла, стал появляться на балах и вечеринках.

Как-то он встретил у знакомых Вяземского.

– Государь мой, Александр Сергеевич, что-то я тебя часто в свете вижу.

– Я пустился в свет, потому что стал бесприютен.

– Как, разве тебя уже не принимают в Приютино?

Острота Вяземского больно отозвалась в сердце.

И всё же он решился прийти 5 сентября на именины Елизаветы Марковны. Аннет веселилась, поставила шараду в лицах с разговорами, в четырёх действиях. Как всегда в этом гостеприимном доме, всё было на высшем уровне. И лишь Пушкин был грустен. Он видел, как холодна с ним Аннет. Прощаясь, он сказал ей:

– Я должен уехать в своё имение, если у меня на это хватит духу.

Только после 19-го октября, отметив традиционным ужином лицейскую годовщину, он уехал к друзьям в Малинники. Оставляя Петербург, он с грустью пишет:

*Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит –
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.*

А пока Пушкин предавался воспоминаниям, Аннет очень сердилась на него. На маменькиных именинах ей передали не совсем почтительные слова поэта о ней. Якобы он говорил, что «мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я уж слажу сам».

Гордая девушка возмущалась: «Мужчины, они думают, что умнее и сильнее нас, думают, что управляют нами. Как они ослеплены! Что ж за слава быть сильным? И медведь людей ломает, зато пчела мёд даёт».

Наутро Аннет поехала в город и встретила со своей любимой подругой Мари.

– Представь, моя милая, я сегодня на Конюшенной видела коляску, в которой сидел мужчина с полковничьими эполетами, похожий на него... Как громко забилося моё сердце!

– Никак не можешь забыть Лобанова-Ростовского?

– Ах, говори потише. Только ты знаешь о моей страсти к Алексею.

– Аннет, не доверяйся ему. Он лжив, он пуст, он зол.

– Да-да, я забуду его.

А про себя подумала: «Я встречаю его везде – на балах, в гостях, в театре, и эта потребность видеть его чаще стала для меня такой навязчивой. Да, конечно, я стараюсь усыпать свой путь не маками, а розами, даже с шипами, потому что они, кольнув, разбудят тебя и не доведут до единообразия. Но всё так тяжело! Никто и не знает, что творится у меня в душе».

В ноябре Аннет уехала с маменькой в Москву, у её старшей сестры родилась дочь. Она пробыла там месяц, познакомилась с местными барышнями. Особенно подружилась с пресненскими красавицами сёстрами Ушаковыми – Екатериной и Елизаветой. Они были ровесницами, к тому же у них были общие знакомые. Сёстры неплохо знали Пушкина. Анна, всё ещё злясь на поэта, резко отзывалась о нём. Екатерина слушала участливо, поддакивая.

...Аннет скоро вернулась в Петербург. А в Москву приехал Пушкин. И конечно, первый визит его был к Ушаковым. Он ведь в 27-м ухаживал за Екатериной. А тут выяснил, что она замуж собирается. Пушкин пошутил: «А как же я? С чем же я-то остался?» И острая на язык Ушакова связ-

вила: «С оленьими рогами!» И, конечно, рассказала в красках (даже преувеличивая от ревности) о словах Олениной.

Теперь уже Пушкин разозлился не на шутку. Он пришёл домой в прескверном расположении духа.

Рука потянулась к бумаге. И быстро-быстро запрыгали, заспешили буквы. Вот она – «кобылица молодая». «Погоди, тебя заставлю я смириться подо мной». Он вспомнил её маленькую ножку, умные с огоньком глаза. Думал – невинное дитя. Она как-то обронила: «Я умею невинно бесить». Вот уж точно взбесила.

Пушкин нервно заходил по комнате.

– Ну ничего, я отомщу тебе, Анна Оленина.

И в черновиках «Онегина» вскоре появился новый персонаж – некая Лиза Лосина, которая была и жеманна, и бестолкова, и зла. С писклявым голосом. Даже горбатая. Что ж, от любви до ненависти один шаг. Хорошо, что этот образ так в черновиках и остался. Негоже гению быть таким мстительным.

Пушкин излил свой гнев и как-то неожиданно успокоился. На одном из московских балов в конце 1828-го года он увидел юную Натали Гончарову и влюбился. Новая любовь затмила прежнюю.

Вернувшись в Петербург, он повстречал Вяземского, радостно приветствовавшего своего друга:

– Что нового? Как Оленина? Ты давно её видел?

– Не говори мне о ней.
– Я понимаю, тебе неприятно, но ещё недавно ты боготворил малышку.
– В Москве я навестил Ушаковых, и оказалось, что Оленина пожаловалась им на меня.
– Что же она могла придумать?
– Но у неё же «творческое воображение». Я сказал ей какую-то нежность, она приняла её за грубость. Говорила, что она в ярости от моих речей на её счёт. Что ж, она вылечила меня навсегда.
– Сочувствую тебе, дорогой.
– Провидение, вероятно, свело меня на балу с Натали Гончаровой. Ей всего 16. Красавица редкая.
– О! Приятная новость.
– Я так увлёкся, что и не писал никому. Весной намерен просить её руки.

И в начале апреля Пушкин сделал предложение Натали Гончаровой. Однако получил отказ. Мать заявила, что невеста ещё молода. Пусть подрастёт немного, а там посмотрим. Расстроенный поэт уехал на Кавказ. И только через год его предложение было принято. А ещё через год они с Натали обвенчались.

Пушкин был счастлив. Он навестил Оленину только в 1833-ом году и написал в её альбоме под стихами «Я вас любил...», ранее там помещённых, – «давно прошедшее...»

Анна Оленина вышла замуж уже после гибели великого поэта, но до последних дней вспоминала о нём с нежностью.

ХИМИК

Рассказ

Николаю Сорокину

1

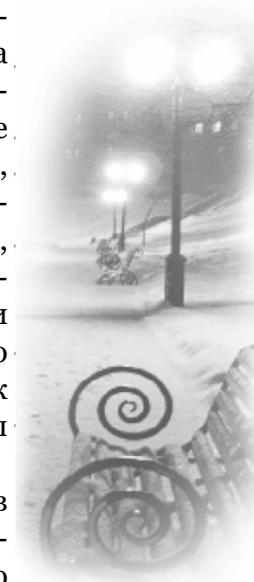
Мы не хотели, чтобы он приходил. Сидели тихо за партами, обсуждали вполголоса Ивана Николаевича Соловьева, будущего учителя химии. Ждали звонка, как ждут сигнала тревоги. Отчасти из-за баек старшеклассников, отчасти из-за шуток других учителей. Известная история – как в девяностые он спустил ученика с лестницы, ведущей на второй этаж. Подробностей никто не рассказал, и наше воображение дорисовывало их само. Не ведом был и его возраст. Достоверно только то, что он учил наших бабушек и, с их слов, уже тогда не был прямо-таки молодым.

Все ерзали на стульях в ожидании; я на всякий случай листал первый параграф



Денис
ДЫМЧЕНКО

Проза



учебника; один Андрюха Сергеев, мой сосед по парте, стоял в конце кабинета и изучал полуто-раметровый в диаметре глобус на шарнирной подставке, который остальные заметили, но не слишком спешили осматривать. У нас в головах долго сидел вопрос, который тогда Андрюха и озвучил.

– Как и зачем они его сюда вперли?! – удивлялся он, изучая США образца семидесятых годов прошлого века. – О, Миссисипи!

Кто-то из пацанов посмеялся над этим словом и тоже подошел разглядывать. Полминуты – и рослый, здоровый, массивней всех нас Андрей сидит на глобусе, а одноклассник его на этом гигантском шаре. Класс посмеялся над мультяшным Андрюхиным визгом: «Уи-и-и!» – и стало чуть легче ждать неизбежного.

Отзвенело. Дверь открылась. Мы поднялись с мест. В класс вошел пожилой, но не седой полный мужчина. Волосы у него торчали вверх, лицо было немного опухшее, с обвислыми щеками, глаза скрывались за тёмными очками в прямоугольной оправе. Ходил он, из-за больных ног и комплекции, переваливаясь влево-вправо, но не настолько, чтобы это выглядело смешно. Мы видели этого человека в коридорах, но не знали, что это химик. Дойдя до учительского стола, он хлопнул по небольшой стопке книг и со вздохом сел. Тишина стояла такая, что мы слышали и этот вздох, и шуршание свитера, и скрип кроссовок (он был единственный из учителей, кто носил на работе кроссовки).

Иван Николаевич поглядел на нас поверх очков, откашлялся, достал из тумбочки классный журнал. Мы следили за его движениями, а сами старались не шевелиться. Мало ли.

– Садитесь! – сказал он слегка дребезжащим, громким голосом и надел очки с диоптриями вместо затемненных.

Мы послушно сели, во время переключки откликались на фамилии. На некоторых он останавливался, поднимал голову, рассматривал названных учеников, будто пытался кого-то в них узнать, после чего философски скидывал брови и продолжал монотонно идти по списку. Разок его взгляд упал и на меня, и я постарался сделать вид, что усердно о чем-то думаю, но ему, похоже, не было разницы, умная у меня физиономия или нет.

Химик захлопнул журнал, поднялся и заковылял к незакрытой двери. Долго почему-то смотрел из-за нее в коридор. Мы шептались, пытались понять, зачем он это делает.

Андрюха предположил:

– Да время тянет, – и оказался, в итоге, прав.

К уроку Иван Николаевич приступил неохотно. Первые минуты вел занятие стоя или расхаживая по классу вдоль передних парт; рассказывал что-то вводное – об истории своего предмета от древнегреческих философов до Нобеля. На Нобеле урок химии и кончился. Соловьев, уже сидя за столом и куда живее, чем до этого, рассуждал о Нобелевской премии, ругал ее за предвзятость и приспособленчество, смеялся над Премией

Мира, вспоминая, как Альфред Нобель разбогател за счет изобретения взрывчатки. И говорил еще многое в таком роде, что мы не понимали или понимали не полностью, как пятилетние дети не до конца осознают суть родительских разговоров о работе.

Вещал учитель для самого себя, озвучивая свои устоявшиеся мысли, чтобы не пылились в мозгу, а работали, пусть они и пролетали мимо наших умов. Мы слушали больше, наверное, из страха, но все же старались вникнуть в его речи. Кто-то даже задавал вопросы, остальные изображали послушание и радовались, что не надо лишней раз делать записи.

За пять минут до звонка Иван Николаевич умолк. Он сидел, откинувшись на стуле, сложив руки в замок на животе, смотрел в окно. Мы незаметно собирались, готовые в любой момент выбежать из класса. Оставался последний урок – физра, и большинство планировало с него благополучно смыться. Настроенные на вольный воздух, мы вздрогнули, когда Соловьев своим гулким голосом стал наизусть читать Высоцкого. Без книги под рукой, честно, «от зубов», от начала до конца:

– Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с «иксами», запутались в нулях...

2

Он любил, когда ему задавали вопросы. Первые полгода мы этим пользовались. Заговарива-

ли ему зубы и на какое-то время выдыхали спокойно. Но после Нового года началась настоящая химия, запас «умных» вопросов быстро иссяк, Химик злился и неизменно повторял, снисходительно глядя на нас:

– Да боже, все очень просто, даже чересчур!..

Я бы не удивился, начни он тогда ставить двойки. Мы сами напрашивались.

После обстоятельного и эмоционального ответа Соловьев долго сидел на стуле и смотрел в окно с такой горечью во взгляде, точно его предали и оставили в одиночестве, а он старается этого не показать. Длились такие перерывы минут десять-пятнадцать. На исходе урока кто-нибудь из отличниц шевелил отяжелевшую тишину, спрашивая о чем-нибудь, действительно стоящем разъяснений. Иван Николаевич, еще хмурый, но вернувший себе ненадолго веру в учеников и свой предмет, поднимался, шел к доске, рисовал решетки с буквами, объяснял доходчиво, ровно, с расстановкой. Но формулы так и остались для нас пространными сложными каракулями с латиницей и цифрами...

Вряд ли он верил нашим старательно изображаемым серьезным лицам, которые, как маски, надевались для приличия. Это «для приличия» ему не льстило, в отличие от многих молодых учителей, радующихся одному только человеческому отношению к себе. Ивану Николаевичу хотелось что-то нам дать; природное (или не совсем) стремление к полезному труду не унима-

лось в нем, толкало на поступок, действие, но действие это разбивалось о нашу лень. В следующем году – экзамены. Все мы настроились работать над «необходимым», и ни один не счел химию таковой.

Убедившись, что мы естественнонаучные креатины, химик стал учить нас другому. Нет, Иван Николаевич не тратил на это свои уроки целиком; материал по программе, и даже чуть сверх, нам давали по-прежнему. И по-прежнему он, этот материал, без следа выветривался из наших умов. Но попутно нам рассказывали о жизни: самого Соловьева, тех людей, которые попадались ему на пути за столько лет, – и о том, что его самого в нашем мире волновало. Такое мы слушали охотнее, чем объяснение химических реакций, и даже не всегда из-за возможности побездельничать. Я тогда мнил себя молодым идейным историком и внимал рассказам химика о временах далеких, «почти былинных» так, будто он был единственным живым и до конца честным очевидцем.

Я даже ловил себя на мысли записать его рассказы. Художественно обработать. Но скоро понял – не смогу. Рука не поднимется препарировать чужой путь и пересказывать его от своего лица, лепить к нему свои, искусственно рожденные, «пробирочные» эмоции и выдавать за подлинные. Поэтому я решил просто рассказать, как истории химика воспринимались собственно мной. Так будет правильнее, с большим уважением к этому человеку.

Как-то в феврале, в том же восьмом классе, мы дошли до темы «Горение». Или не тема это была, а просто определение в параграфе, не помню. Соловьев, как всегда, писал формулу на доске и, дописав, молча отошел к окну, открыл его, оглядел через темные очки заснеженный школьный двор.

– Огонь – вообще штука страшная, – начал он. Губы его поджались, морщин в уголках век стало больше. – Вот мы с одноклассником в училище были, практику проходили на производстве. Мы тогда за Уралом жили...

У него был друг, Володя. Вдвоем они работали сторожами на складе нефтеперерабатывающего завода. В обход правил устроились в ночную смену: дальний родственник Володи занимал на заводе какую-то должность – и пронесло. На складе хранились запчасти, емкости, мелкая техника – в общем, то, что не могло воспламениться. За неделю до расчета они вышли на очередную вахту. Молодой Соловьев сидел на посту и ждал друга с обхода. Володя вбежал в комнату и тревожно выкрикнул: «Ваня! Горю!» Иван, не поняв, повернулся к товарищу – тот горел от плеч до бедер. Лицо Володи скривилось от боли, но он выглядел больше озадаченным, будто и не плавилась на нем, врастая в кожу, синтетическая рабочая куртка.

– Он горит заживо, а смотрит так, будто горшок с традесканцией уронил и землю рассыпал! – говорил нам Иван Николаевич, тряся перед собой ладонью.

Он накрыл спину Володи попавшейся под руку мешковиной. Потушил. Друг, рыча от боли, отказался сначала идти в больницу.

– Мы ж, дебилы, боялись, что в училище узнают. Или заводское начальство. Боялись, с учебы попрут, оштрафуют или вообще посадят, и не только нас двоих. Нам было по шестнадцать, и мы вообще ничего не могли сообразить как надо, – разводил руками Иван Николаевич.

Наш ужас от подробностей, с которыми он расписывал ожоги, радовал его, как радуется сказочника оживление или испуг ребенка.

И друзья пошли пешком в ближайшую деревню, где жил и работал фельдшер, ночью, а был март, и еще лежал снег. В конце пути Володя уже едва держался на ногах.

Фельдшера не было. Была молодая медсестра, совсем девочка, только-только из училища. Спросонья она положила Володю на кушетку спиной вверх, бегала по медпункту растерянная, кому-то звонила и не дозванивалась. Соловьева к другу в комнату не пускала.

– Я стоял еще, мялся, думал тогда – уходить или нет. И побежал-таки обратно. Володя бы, может, выжил, если бы фельдшер был на месте. Я его после медпункта и не увидел больше, даже на похороны не попал.

Мы молчали. Да и что на такое скажешь? Только Андрюха, тоже проникшийся ужасом, спросил:

– А из-за чего он так сгорел?

Химик вздохнул, опершись рукой на подоконник, и ответил:

– Я так и не спросил. А Володя так и не успел сказать.

Родители говорили, что Соловьев все придумал. Мол, не может человек с такими ожогами ходить, тем более пройти несколько километров в пургу, и никто бы студентов описанным способом на предприятие не взял, и не может быть, чтобы после случившегося никто – ни в училище, ни на заводе, ни родственники погибшего Володи – ни о чем его не спросил.

Может, и придумал. Может, насочинял по ходу. Мне было четырнадцать. Я поверил. Настолько поверил, что не смог той ночью уснуть. Думал о двух вещах: как больно может быть человеку и как бессмысленно порой можно умереть.

3

Есть выражение – «набить до отказа». Соловьев был до отказа начитан. Он мог декламировать стихи по памяти, цитировать целые страницы из книг: например, знал наизусть первые страницы «Мертвых душ», главы из «Онегина» и целиком рассказы Шукшина. Последние подавал как анекдоты, когда у него было веселое настроение. Мы быстро перестали удивляться и просто пользовались его желанием нас просветить, или заинтересовать, или порисоваться перед нами, – мы так и не разобрались, что из этого было правдой.

Как-то раз он зачитал описание девушки из тургеневского «Рудина». Окончив, стал с жаром рассуждать о красоте вообще и женской красоте в частности.

– Вот тут, – Соловьев постучал по своему столу костяшками пальцев, имея в виду книгу Тургенева, – видно настоящую красоту. Кроткую, вдумчивую, чистую. Простую, без примесей. Вот как снег только выпавший. Неуловимое что-то, что надо высматривать. Так вот, правильно – такая красота. Я вот в город ездил. Идешь по улице – навстречу пугало крашеное, в железе, размалеванное, татуированное, в каких-то мешках вместо одежды. Одно уродство!

Девочки смотрели на него с обидой или с насмешкой. Все пользовались косметикой. Многие красили волосы. Некоторые копили деньги на татуировки и пирсинг. Идеалы химика казались им смешными, застарелыми и несправедливыми.

– В этом же ничего плохого нет... – промямлила девочка с первой парты, троечница Лера. У нее одна прядь была окрашена хной, и на руке одноклассница той же хной нарисовала ей узор.

– Это-то как раз и плохо! – возразил Иван Николаевич, подойдя ближе к ней. – Все хотят быть не такими, как все – и все ходят одинаковые. Так ладно бы одинаково приятные глазу! Нет, одинаково жуткие страшилища... – Тут он заметил рисунок на ее руке. – Ну вот скажи мне, зачем размалевывать себе руки? Они от этого что – красивее станут? Потом же не сведешь. И волосы... Ладно, седые хотят моложе выглядеть,

а вам, молодым, зачем этой отравой голову сжигать? Я работал на лакокрасочном заводе. Это такая кислотная гадость, а вы с раззявленными ртами ее себе на волосы, на кожу. Вы ж все облысеете к двадцати годам!

Девушка сидела, уставившись в учебник, и добела сжимала губы.

– Ну, у нас все девчонки красятся, и что такого? – подал голос Андрей. Он тогда с Лерой встречался. – А рисунок и у меня есть. Это ж хна, она сойдет скоро.

Он расстегнул рукав рубашки и показал нарисованный на предплечье кинжал. Римма, та самая школьная татуировщица, выводила этот рисунок минут двадцать.

– И на кой оно тебе? – спросил Соловьев, улыбаясь скорее нервно, чем насмешливо.

– Мне так нравится, – ответил Андрей и сложил руки на груди.

– Клоуном быть нравится? – Соловьев наклонил голову. – Размалеванным черт-те как?

– Ну, это мой выбор! – распаялся Андрей. Он глядел на учителя, как на алкаша, приставшего к нему на улице с жизненными советами. – Значит, я хочу так выглядеть, мне так нравится. У всех свое понимание прекрасного. У меня – такое, у вас – такое...

– Да при чем тут это? – сокрушался химик, отходя к своему столу. – По-человечески надо выглядеть, а не как инопланетянин.

– Ну а я хочу себя таким видеть в зеркале. Почему мне нельзя?

– Да можно, но это же смешно!

Каждый пер в свою сторону, и никто не мог доказать свою правоту.

Андрюха в тот же день придумал Ивану Николаевичу прозвище – Колыван, за то, что низкий, полный и ходит, как медведь. Ребята оценили. Так оценили, что до самого моего выпуска химика звали только так. Никто больше не воспринимал его всерьез.

4

В конце мая начались экзамены. Автобус к школе все не подъезжал. Наши собрались у ворот, кто сидел на бетонных блоках, кто забрался на забор. Солнце палило, а мы не хотели подходить к школьному навесу, будто стоявшие там учителя могли принести нам неудачу.

Мы с Андрюхой сидели в тени сосны прямо на траве, грызли сухарики. Он их купил, чтобы случайно не достать пачку сигарет, а его так и подмывало. Курить хотел – боялся не сдать. Я читал книжку, и его злила моя внешняя (только внешняя) невозмутимость. Он уже выпускался, а мне предстояло учиться еще два года, и срезаться на ОГЭ было для меня не настолько страшно.

Сопровождающих было двое. Физрук, сорокалетний приземистый мужичок с залысинами над висками, был мужем директрисы, и фамилия у него была Каблаев, за это мы звали его Каблук. Еще был химик. Его каждый год назначали, ни на что более он не соглашался; на олимпиады,

конкурсы и остальные школьные мероприятия Соловьев не являлся, даже если администрация грозила «последствиями». Последствия не следовали – кроме Ивана Николаевича, некому было преподавать его предмет.

Прибыл автобус. Мы с Андреем заходили последними, поэтому сели впереди. Пока мой друг и сосед по парте распихивал по носкам шпоры с обществоведческими определениями, я невольно слушал спор химика и физрука. Они устроились справа от нас и, шутка ли, обсуждали Французскую революцию.

– Не, я уверен, Марата убили жирондисты. Подослали эту проститутку, чтобы его застрелить. Она сказала, что у нее к нему донесение, он ее впустил, и она его того... – Физрук приставил ко лбу указательный палец.

– Нет, все было куда забавнее. Марат был страшный бабник. И у него был целый букет венерических болезней. Ты думаешь, чего он в ванне умер? Он в ней работал. В воде у него хоть как-то ослабевала боль от гонореи и сифилиса. В один прекрасный день он снял себе проститутку. Она пришла, и у него вдруг обострилось. Приказал держать ее, пока ему не станет легче, и продержал так несколько часов, а потом выгнал, не заплатив. Вот она и вернулась, злая и с пистолетом...

Ученики были заняты мыслями об экзамене и не обращали на этот разговор внимания. Разве что девчонка, сидевшая прямо за физруком,

повернула голову на слово «сифилис», но тут же снова отвела взгляд к окну.

Борясь с беспокойством, Андрей играл в проленький раннер на телефоне. Я пытался читать, но чем ближе мы подъезжали к райцентру, тем страшнее мне становилось. В какой-то момент я и вовсе отложил книгу и от нечего делать полез в карман, где лежали ручки и паспорт.

Высовываю руку – и вижу, что пальцы в черной пасте. Все три гелиевые ручки протекли, заляпав документ, весь карман и бедро. А не заметил я этого раньше, потому что брюки были черные.

– Елки зеленые... – Андрюха увидел, что я держу в руках паспорт и негодные письменные приборы.

– У тебя лишняя ручка есть? – спросил я, не отрывая взгляда от запачканных ладоней. Будто окунул их в нефть, только пахнет подслащенным спиртом.

– У меня одна только. Попроси у кого-нибудь!

– Не дадут.

У меня были плохие отношения с одноклассниками, и особенно с одноклассницами. Сам виноват – нечего вредничать по поводу и без.

– Попроси ты, пожалуйста! – взмолился я. – Скажи, что я после экзамена верну.

Андрей стал спрашивать у ребят, сидевших рядом, но они тоже взяли по одной ручке или, по крайней мере, так сказали. Могли и соврать, и мне их даже винить не хотелось – сам бы не одолжил.

– Давай, когда приедем, у всех поспрашиваем, – предложил Андрей.

– Ладно.

Двор школы, где мы должны были сдавать экзамен, был засажен березами и терновыми кустами. Мы, школьники из сел, расселись по бордюрам и ступеням, ожидая, когда разрешат зайти в здание. Андрей отошел за туалет покурить вместе с парнями из других школ. Дым было видно с площадки, но учителя-сопровождающие это проигнорировали, а физрук и сам в наглуго задымил у мусорки. Я ходил вдоль забора и паниковал – все стеснялся подойти к одноклассникам и попросить несчастную ручку.

Химик подошел ко мне первый:

– Ты чего мечешься?

– Извините. – Я остановился и опустил голову.

– Случилось что-то? – поинтересовался он напористо.

– Ручки потекли. Мне писать теперь нечем, – неохотно ответил я.

– Тю, а я думал, что-то произошло! – посмеялся он и вынул из наплечной сумки ручку. – На. Только в карман не клади – от давления и жары потечет только так.

– Спасибо...

– Ты не убивайся заранее, – обратился он ко мне. – Как силы приложишь, так и сдашь. Сделай свой максимум, напрягись – и получится. Все очень просто, даже чересчур.

– А если ошибусь? А если я не знаю ничего?..

– Да было бы там что знать! – махнул рукой химик и хлопнул меня по плечу. – Все ж понятно, что знать-то? Нормально все будет.

– Угу, – кивнул я.

Не помню, на что сдал. Но сдал. И все экзамены так помню. Значит, настолько это было для меня «важно».

5

В селе был парк, в парке тогда стояли лавочки. По утрам я сидел на них, читал Джека Лондона. Друзья разъехались по родственникам в разные города или укатили на моря, в горы. Дома – шумно и посуду надо мыть. Я так сбегал. Родители тогда еще не сетовали, что слишком много читаю.

На аллею вышел Иван Николаевич – он жил с женой недалеко, в шестнадцатиквартирке, и через парк обычно ковлял в магазин. Я изобразил самозабвенно увлеченного читателя, чтобы не здороваться. Не потому, что химик мне не нравился. Я так делал с любимым знакомым.

Соловьев поглядел мимоходом и продолжил путь до магазина. Возвращаясь, уже с двумя пакетами, он собирался опять пройти мимо, но остановился на секунду и подсел.

– Что читаешь? – спросил он с интересом.

– «Странника по звездам», – ответил я, прикрывая книгу и не смотря химику в лицо.

– Чтоб парень в парке книжку читал – это что-то! – усмехнулся Иван Николаевич. – Вымирающий вид. Нравится?

– Да, очень, – протараторил я, как малое дитя.

– Мне у него особенно «Время-не-ждет» нравится, – продолжал химик, расслабленно ссутулившись и глядя на меня в упор. – Там про старателя, который сколачивает финансовую империю, но отрекается от нее ради женщины и маленького счастья. Дух формирует, я считаю.

Мы немного поговорили о том, как трудно стать счастливым. Говорил, в основном, он, а я поддакивал или приводил примеры (по инерции после экзаменов). Химик под конец посмеялся над чем-то, уже не помню над чем. Помню, что смеху его удивился, – он редко смеялся при ком-то. Вздохнув, начал:

– У меня сын тоже читать любил. Обожал «Спартака» Джованьоли и «Овода» Войнич. Любил такое. Высоцкого слушал сутки напролёт, всю бобину затёр...

Я не все фамилии и названия узнавал, но внимал с уважительным трепетом.

– Мы еще под Тюменью жили. Он так учился хорошо, в инженерный хотел поступать. Но все куда-то влезал. Приходил побитый и счастливый. Вроде ругать надо было, а мы так, снисходительно смотрели. Сами ж такие были.

– А где он сейчас? – спросил я, понимая, что лезу в личное и больное. Но не спростишь же прямо: «Как ваш сын умер?»

– Он только в институт поступил – и заболел. Туберкулезник. Нас на юг перевели всей семьей, вот сюда. – Химик показал в сторону своего дома, вскинул брови, загляделся куда-то на верхушки лип в задумчивости. – Он здесь месяц пожил и

умер. Из всех нас он тут единственный лежит... Ну и мы с Шурой остались. Обратного-то – зачем?

Сжимая в руках и без того измятый покетбук, я мучительно соображал, что бы на это ответить и что в таких случаях говорят, как поддерживают, и надо ли поддерживать вообще. Молчал, старался сдерживать подступившее к груди беспокойство.

Химик быстро избавил меня от этих переживаний:

– Ладно, идти надо, а то до ночи так буду сидеть. – Он покряхтел, вставая, и, ничего не добавив напоследок, заковылял домой.

Я подождал, пока он скроется за углом, а потом встал сам.

6

Никогда у нас не было так спокойно. Десятый класс сгребли из двух параллелей. Нас набралось пятнадцать человек. В тот учебный год мы не делали ничего, вообще ничего, просто приходили на уроки посидеть. Временами учителя жаловались на нас, ленивых и сонных, но это не работало – сидели как сидели, ни аттестат, ни грядущие в следующем году экзамены не заставляли нас шевелиться.

– Моносахариды – очень простая штука, даже чересчур...

Ничего по теме урока в голову не шло.

От скуки я начал листать ленты в соцсетях. От скуки все листали ленты в соцсетях. Это, конечно, нас не оправдывает. Иван Николаевич стоял у доски, водил пальцем по формулам, объ-

яснял синтез спирта из глюкозы. На полпути, как обычно, ушел в свои дебри. Говорил что-то про Паустовского. Как от моносахаридов все пришло к этому – не знаю. Не слушал.

Андрюха ушел после девятого класса, и я сидел один. Впереди, на первой парте, сидела Лина, наша отличница, спортсменка и далее по списку. Она так расслабилась, что висела в «Инстаграме» открыто, не прячась за учебником или хотя бы прикрыв айфон ладонью. И химик видел, но ничего не делал. Привык. Единственное – цокал и вздыхал, когда в поле зрения попадался кто-то с опущенным на (или чаще под) парту взглядом. Той зимой он был очень хмурый и нервный, даже шагал стремительно, не качаясь при ходьбе, бурчал что-то под нос и, подвисая посреди урока, садился и отворачивался к окну.

Лина – я видел это со второй парты – вдруг подняла айфон и включила фронталку. Химик стоял к нам спиной, мыл руки от мела и повернулся в самый неудачный момент. Она как раз надула губы и сделала «типа томное» лицо для фото. Селфи разной степени пошлости тогда делали все кому не лень.

– Тебе заняться нечем? – возмутился Иван Николаевич, вытирая руки сухой тряпкой. – Убрала! Быстро!

Дернувшись от окрика, Лина аккуратно положила телефон под раскрытый учебник. И на этом бы все кончилось, но, стоило учителю чуть отвернуться, они вместе с подружкой со второго ряда тихо – но все же недостаточно тихо – посме-

ялись. Вряд ли они хихикали над химиком, скорее над случившимся в целом.

Иван Николаевич непривычно медленно подошел к нашему ряду, улыбаясь как-то едко и нехорошо.

– Что, смешно? – спросил он, уперев руки в Линину парту.

Лица одноклассницы я не видел. Она, наверно, и понять, что нужно испугаться, не успела. Химик осторожным, размеренным движением отодвинул учебник, взял телефон. Помню, я тогда подумал: «Если он щас заберет смартфон, потом с ее родителями измучится ругаться». Но вместо того, чтобы спрятать смартфон в ящик стола до конца занятия (как делали другие учителя, когда мы сильно нагтели), он просто выкинул брендовую трубку в окно. Белый прямоугольник бесшумно описал нисходящую дугу и утонул в сугробе.

Лина вскочила, закричала:

– Вы что, сдурели?!

Химик молча сел за рабочий стол, медленно снял очки и равнодушно ответил:

– Нужен – беги.

И Лина побежала.

Остальное – с чужих слов. Дело дошло до директора. Пришли родители. Был разговор. Именно разговор – не столкновение, не скандал. Телефон остался цел, поэтому обошлось. Лина дала обещание не сидеть в соцсетях на уроках, а Иван Николаевич – не выкидывать чужие вещи из окна в снег.

Андрюха, когда узнал, пошутил:

– А не выкидывать людей со второго этажа Колыван тоже обещал?

Лина и ее мама собирались добиваться увольнения химика. Отец, бывший участковый, не разрешил и сделал все, чтобы никому ничего не было.

Много позже Иван Николаевич, уже лично мне, сказал об этом так:

– Так он меня знает. И я его знаю – учил. После кошары он прибежал ко мне учиться. Ветеринаром хотел стать, химию готовил. Раз вечером пьяный пришел – отец напоил. Так это меня обидело, знаешь. Ну я и вышвырнул его в окно...

А почему он выкинул телефон, и почему директриса после этого не стала с него спрашивать... Оказалось, той зимой жену Ивана Николаевича увезли в больницу с первым инфарктом.

7

Через неделю Иван Николаевич, к нашему удовлетворению, ушел в отпуск. Посреди четверти, вот так просто, на десять дней. Уроков химии не было – некому вести.

Вернулся он как ни в чем не бывало во второй половине февраля. Под самый конец четверти. Темные очки не снимал, даже чтобы прочитать что-то в вечно таскаемых с собой книгах. Ходил медленно и будто на ходу соображал, куда и зачем ему надо.

Урок вел как всегда, в своей обычной манере. Рассказывал о полисахаридах и чем они отличаются от моно- и олигосахаридов. Чем-то точ-

но отличаются. Когда дошли до крахмала, Иван Николаевич сел за стол и потер переносицу под очками.

– Фильм один по телевизору смотрел, – начал он, стуча пальцем по стопке старых желтых томов, – про ученого. Он гликогены якобы исследовал. Так вот, лежал он на диване, придремал. И сердце у него остановилось. Лежит и видит вокруг себя поля, леса, людей. Сам Бутлеров стоит, за собой зовет. А ученый не зря ученый – ходит вокруг, изучает. Видит, что деревья и трава изламываются, одно в другое вливается, – он показал рукой волну, – и Бутлеров – то Менделеев, то Берцелиус, то Ломоносов. Хотел записать, что наизучал, и проснулся. А над ним уже врачи, жена в слезах... Не, это все брехня, конечно! Но история интересная. Что преданный науке человек может даже рай или ад анализировать – в это верю. Но это ж как мозг должен работать, чтобы детали того света изучать?

Химик глядел на нас, ждал какого-то понимания, а мы уже хотели на перемену и не слушали его.

– Сны вообще интересная штука, – продолжил он, поднявшись и проковыляв к окну. – Жена лежала в больнице – мне снилось, как она с крыши дома падает. А я каждый раз ее ловлю. И не поймать боюсь. И четко детали той крыши вижу, и небо темное...

И он стал до самого звонка описывать крышу из сна. А взгляд в стол, и мысли совсем не об этих подробностях.

На ЕГЭ нас снова сопровождал химик. На этот раз один: физрук слег с ковидом. Ну, якобы. Было начало июля двадцатого года, свирепствовала пандемия, народ сидел по домам, и экзамены отложили на середину лета. Директриса лично стояла у автобуса, проверяла, все ли ученики взяли с собой маски. Завуч это дело снимала. Иван Николаевич скучающе наблюдал из-под солнечных очков. Он не был против защитных мер, но считал такие съемки начальства для начальства глупостью.

Наконец отъехали. Я сидел в конце автобуса, слушал музыку в наушниках и не особо переживал о том, как напишу. А вот вопрос: «Как жить после школы?» мучил. Чтобы не нервничать до трясушки, напускал апатию. Плохо напускал – на грудь все равно что-то давило. Тревожно мял заляпанный чернилами еще в девятом классе паспорт. Еще и под Федука.

Во дворе школы все места в тени были заняты. Кто-то уселся на клумбы, и их никто не ругал – все местные учителя и охранники укрылись в здании. Мы с одноклассниками стояли у главного входа, сообща повторяли все подряд определения и вопросы из курса обществознания. Пытались надышаться перед смертью.

За полчаса до начала экзамена пацаны отошли к уличному туалету покурить. Я поначалу остался сидеть на бордюре, крутил ручку в пальцах и ждал, когда же впустят в школу. Представлял себе охрану, камеры, рамки металлодетек-

торов. И так стало тошно от того, что сижу один, что не с кем поговорить, что тревога не уходит! Со злости пошел за туалет, попросил у одноклассника Влада, которого я меньше всего раздражал, закурить. Он удивился, полез в сумку и спросил:

– А ты куришь вообще?

– Никогда не поздно научиться, – отшутился я.

Видимо, я сказал это таким нарочито мрачным тоном, что нельзя было воспринять всерьез. Он рассмеялся, протянул:

– Я-а-асно... – и достал пачку. Вытащил сигарету, передал мне вместе с зажигалкой.

Я попробовал затянуться.

Кашлял долго. Отошел к березе у торца туалета, согнулся возле нее, старался вытолкнуть из легких дым. Сигарету смял и швырнул в сторону забора. Проступили слезы, горло заболело.

Влад стоял рядом, хлопал меня по спине.

– Ну тише, тише! – успокаивал он. – Прокашляться просто надо.

Я вернулся к бордюру. Сидел, опустив голову на колени и прикрыв ладонями затылок, чтобы солнце грело голову не так сильно. Покашливал. Включил фронталку – посмотреть на свое лицо. Глаза от кашля и слез покраснели.

«Блин!» – подумал я, желая что-нибудь разбить или куда-нибудь убежать.

– Чего загрустил? – подошел ко мне химик.

– Душно, – ответил я, подняв голову. Резко выпрямился и опять закашлял.

Иван Николаевич встал рядом, принялся. Я опустил подбородок обратно на колени, готовый услышать замечания. Но вместо упреков учитель достал из сумки поллитровку с водой и отдал мне.

– На, остынь. – Он отдал бутылку и тут же сунул руки в карманы. – Боишься?

– Немного...

– А ты не бойся.

«Кажется, у нас уже был такой разговор», – подумалось мне.

– Как все просто! – Я усмехнулся и отпил из бутылки.

– Я вам постоянно говорю, что все очень просто, – подтвердил Иван Николаевич, а сам с беспокойной вдумчивостью разглядывал свои ботинки.

Он снял солнечные очки, посмотрел на небо щурясь. Синяки под глазами стали как будто шире и темнее. Уголки рта оттянулись к ушам, но улыбкой это было не назвать. Я вернул воду, поднял с земли попавшуюся на глаза березовую сережку и стал ее обдирать. Химик молча постоял еще минуту и отошел к школьному крыльцу.

Нас позвали на экзамен. Мы его написали. К трем часам приехал автобус, и нас повезли домой.

Через месяц жена Ивана Николаевича скончалась. Оторвался тромб, ухудшилось состояние. Скорая слишком долго ехала.

В конце августа, незадолго до отъезда в город для поступления в институт, я забежал в школу сдать библиотечные книги. По-хорошему, их следовало вернуть еще до экзаменов, но как-то было не до этого. Я припер на горбу полный мешок из-под картошки – тридцать томов худлита. Заведующая перебирала их минут двадцать и удивлялась, как это она некоторые романы мне вообще выдала. Кто-то в те годы додумался давать библиотечным книгам возрастную маркировку, и самое смешное – в библиотеке были книги «18+», по такой логике непонятно, на кого в школе рассчитанные.

У лестницы я наткнулся на химика. Коротко, под ежик стриженный и начисто седой, он нес в руках коробку с какими-то колбами.

– О! Поможешь, а? – попросил он, тяжело дыша.

– Да, конечно, – ответил я, почему-то удивленный, что он меня помнит и вроде бы даже рад видеть.

Взял коробку, пошли в кабинет. Иван Николаевич спрашивал меня по пути, кто, как и куда поступил, или не поступил, или просто работать пошел. Я рассказывал все, что знал, а знал я немного – за два года у меня так и не сложились отношения с классом. Соловьев передавал поздравления всем, кто поступил в больших городах, желал удачи тем, кто решил остаться ближе к дому, жалел тех, кто не сдал. И все так сентиментально, что я, семнад-

цатилетний, не верил в искренность такого участия. Но, признаюсь, хотел верить.

Вошли в класс. Его перекрасили, включая парты, двери и батареи. Раньше был бежевый, такой изжелта-серый, а теперь – в голубых тонах. Как новенький, даже пахнет краской. Только гигантский глобус как стоял рыжий в конце класса, так и стоит. Столько народу на нем перекаталось, что Северный полюс стерся аж до белизны.

– А откуда у вас все-таки этот глобус? – поинтересовался я у химика. Странно, что никто за столько лет у него не спросил.

– Да то ученик мой. Он генерал был, привез служебный, подарил, – махнул в сторону шара Соловьев и стал рыться в коробке. Колбы его интересовали больше. – Школа раскошелилась. Скоро мужики реагенты с «Арнеста» должны завезти. Мои все скисли, еще когда вы не родились. По программе опыты показывать положено, а мне нечем было, хоть ты тресни.

– Да, все всегда без денег... – ляпнул я невпопад и сделал шаг к двери.

– А сам-то ты куда поступил? – остановил меня химик.

Я рассказал.

– Слушай, ну неплохо! – улыбнулся Иван Николаевич. И показался от этого таким старым! Будто и седины в этот момент стало больше. – Мне кажется, у тебя получится. Батка твой на полпути из техникума ушел, а ты в институте точно сможешь.

– А вы моего отца помните? – удивился я.
– Спрашиваешь! – опять отмахнулся химик. – У меня иногда возникает ощущение, что я вас всех по два-три раза учил. Отец твой мне шпингалет на вот эту дверь, – он показал на лаборантскую, – приспособил, до сих пор пользуюсь. Шурупы отверткой вкручивал. Работающий парень, жаль не знает, что с собой делать.

Отец ушел, когда мне было четыре. Было странно слышать о нём что-то настолько теплое.

– Или вон Андрея папаня – вечно во всякие передряги встревал, в драки лез. Но девчонок защищал до отупения. Щуплый был, вредный, а рыцарь! Вот уж чего никогда бы не подумал...

Отец Андрея умер от передозировки, когда сыну не исполнилось и десяти. Андрей ненавидел его всем сердцем и терпеть не мог, когда о нём кто-то вспоминал.

Иван Николаевич много чего рассказал о наших родителях. Удивляло, сколько людей в своей жизни он запомнил, скольких учил...

– Так что, рад ты, что поступил? – спросил он напоследок, когда я собрался-таки уйти и уже стоял в дверях. И мне не хотелось уходить.

– Пока не знаю, – честно ответил я, потушившись. – А вы как думаете, правильной дорогой иду?

– Не знаю, – вздохнул химик, сел за рабочий стол и прикрыл глаза. – А узнать хотелось бы.

И только тогда я понял, как сильно он постарел.

МАРАФОН

Рассказ

«...если... во время бега на тебя снизошло что-то вроде озарения, то это тоже смело можно считать достижением.»

Харуки Мураками
«О чём я говорю, когда говорю о беге».

Он бежал тридцать пятый километр, а силы уже заканчивались: левую ногу временами сводило судорогой. Приходилось сбавлять темп и делать упор на правую. Когда левая оказывалась в воздухе, хотелось тряхнуть ею, однако это не удавалось. Сердце с бешеной скоростью kloкотало где-то в горле. Раскаты от его ударов достигали ушей, отчего слух притуплялся: не было слышно слов волонтеров на поворотах. Видимо, они кричали что-то насчёт того, куда сворачивать.



**Вера
СЫТНИК**

Проза



Их вытянутые руки указывали направление бегунам. Это было не лишним, потому что всё вдоль дороги слилось в сплошную пёструю ленту, среди которой затерялись сигнальные флажки. Пот застилал, ел глаза. Сергей не успевал вытирать их тыльной стороной ладони, давно ставшей мокрой. Болели плечи, и зудела спина, как будто на неё взвалили куль с песком. Он чувствовал этот куль, словно ему было не сорок лет, а все восемьдесят.

Впереди ждали ещё семь километров. Их нужно во что бы то ни стало преодолеть, несмотря на усиливающийся ветер и растревоженную старую мозоль на пятке. Майская погода преподнесла сюрприз: накануне выпал крупный град вперемежку с ливнем, срезавший траву на молодых газонах и обрубивший ветки деревьев. Дорогу успели очистить, но в воздухе всё ещё летали остатки сырого холода, что, впрочем, было кстати. Сергею не нравилось бегать в тёплую погоду. Он и ветер любил, правда, сегодня досадовал на него, слишком уж сильно тот дул в лицо, что мешало бегу.

Футболка тоже была мокрой – от пота и воды, выливаемой на себя из бутылок в моменты остановок. «Снять, к лешему, чтобы не мешала, – с раздражением подумал Сергей и хотел было так и сделать, но вспомнил, что на футболке приколот номерной знак в красном квадрате. Красный цвет означал, что человек бежит сорок два километра.

Для Сергея это был первый классический марафон с секундными перерывами на то, что-

бы глотнуть воды или схватить с одного из столов, поставленных в нескольких точках, тубик со спортивным гелем. Углеводная подпитка здорово помогала: как будто в тело вливали энергию, с неземным блаженством распространяющуюся по жилам. Заправишься и можно бежать дальше. Если бы не эти паузы, которые Сергей в нарушение правил продлевал до нескольких минут и использовал для выравнивания дыхания, он бы свалился на тридцать третьем километре, потому что цифра «тридцать один» составляла его максимум. Полумарафон был преодолен осенью прошлого года, а тренировочные тридцать два километра тремя месяцами позже. Далась они с трудом. К финишу Сергей приплёлся, согнувшись, опираясь руками на колени, и сразу упал на обочину дороги, под кусты. Долго валялся там, перекатываясь с боку на бок, хрипя и глотая воздух, пока не восстановил дыхание.

Сегодня, когда знакомый рубеж остался позади, Сергей почувствовал страх перед оставшимися семью километрами и на очередной остановке задержался подольше, рассчитывая восполнить силы, но только ещё больше испугался и сбился с ритма. А это, как он знал из практики, было самым худшим на длинной дистанции, ибо нарушалась заданная размеренность, которая, собственно, и вытягивала весь марафон и не давала раньше времени грохнуть в кусты.

В жизни бывает так же: стоит прервать её равномерность, не успеть и застопориться, как тут же получаешь подзатыльник. Хорошо, если удар не

свалит с ног. А если свалит? Такое случилось, когда Сергей не успел сдать проект к сроку и мигом потерял работу. Полгода крутился как уж на горячей сковородке, в поисках денег. Кстати, в то время и начал бегать. Однажды проснулся ночью от оглушающей пустоты в ушах, долго бездумно таранился в чёрное окно, ощущая, как мечется сердце в груди, и понял, что если не сделает чего-то из ряда вон выходящего, то ему конец. Дождался утра, оделся и вышел на улицу.

Была весна. Пели птицы. Нежный свет лился на город с востока, приглашая желающих вступить в этот восхитительный розовый поток. Сергей двинулся в сторону парка, туда, откуда поток надвигался на город. Он постепенно ускорял шаг и не заметил, как побежал – легко, свободно, будто бегал всю жизнь и знал, как это делается. Тело слушалось его. Осознав, что бежит, прибавил скорости, всё дальше удаляясь от ночной пустоты в ушах и от сердечных метаний. Он бежал прочь от алчной пропасти, которая чуть не поглотила его. Бежал что есть силы. Наматывал круг за кругом по парку и до боли в голове думал о жизни, о том, что же делать дальше. Бег спас его. Мысли постепенно улеглись, эмоциональная нервность прошла, наступила сладостная физическая усталость, вытеснившая ночные страхи. Через месяц нашлась работа, и жизнь вновь вошла в ритм, в который так гармонично, так радостно вписывались пробежки по парку.

На сорок два километра он решился, чтобы тело и дух окрепли. Захотел проверить себя – смо-

гу ли? Но когда марафон перевалил за середину, в те редкие моменты дозаправки, когда Сергей выпадал из общего ритма, его всё же пронзала подлая мысль. «Зачем я бегу? Зачем всё это?» – думал он, чувствуя, как подкашиваются колени и дрожит грудь. Видя в своём вопросе малодушие, гнал его прочь. «Мне же хотелось испытать силы? Вот и испытываю. Я должен, должен превзойти себя сегодняшнего, пересилить того, кто так позорно катался после тридцати двух километров на земле! Я начал марафон одним человеком, в котором ещё сидел страх перед трассой, а закончу другим, победившим её, более уверенным, могущим преодолевать препятствия». Это было важно – преодолевать препятствия. Жизнь такова, что каждый шаг требует принятия решения, а бег учит концентрировать мысли.

Сергей воодушевлялся, когда бегал. Чувство подъёма охватывало его и несло по парку. И было неважно, есть у тебя проблемы или нет. На время тренировки бег покрывал негатив жизни. Красота: бежишь не торопясь, размышляешь о высоком, о разном! Поначалу он надевал наушники и слушал музыку, но потом бросил это дело, отдавшись размышлениям. В обычной жизни думать было некогда: то работа, то жена с дочкой отвлекали. А тут в самый раз. Темп бега, то ускоряясь, то замедляясь, диктовал скорость течения мыслей. Иногда они мчались друг за другом и роились в голове, отражая беспокойное настроение, а порой текли, как полноводная ленивая река. И тогда Сергей наслаждался, вызывая в памяти

картины детства или недавний разговор с женой о будущем отдыхе.

Вспоминал себя десятилетним, катящимся в санках с огромного обрыва за околицей деревни, где жила бабушка. Однажды санки перевернулись, и он полетел вниз. Катился и подпрыгивал, словно стал футбольным мячом, помятым, рваным, сдутым. Рот, глаза и нос забило снегом, и стало так страшно, как не было страшно никогда. На миг показалось, что провалился под землю, откуда уже никогда не выбраться, но тут подошел старший приятель и вытащил из сугроба.

Сергей думал о том, что его дочери тоже десять лет, но она не знает ни обрыва, ни санок. Странное дело, она почти не знает и снега, потому что с природой что-то творится, и там, где была когда-то снежная зима, теперь дуют сухие ветры. Дочь не знает самых простых детских радостей, а страх её направлен не на спуск с крутого обрыва, а на незнакомых людей. Может быть, поэтому она вечно встревожена, что на улицах видит много незнакомых людей? Как защитить девочку от этого страха и объяснить, что не каждый незнакомец – злодей?

Сергей думал. И во всём искал подоплёку, первопричину, объяснявшую смысл жизни. Но никакого смысла, удовлетворившего бы его любопытство, не находил. Он был в курсе, что смысл жизни кроется в самой жизни, но как это стыкуется с тем, что человек не знает, зачем появился на свет и что ждёт от мира, не понимал. Тренировки помогали разложить мысли по полочкам. Ему

нравилось, что во время бега они становились не совсем мыслями, привычными в своих образах, а чем-то похожими на размытые силуэты. Вроде уличного театра теней, который он видел в Китае: тёмные колеблющиеся фигуры двигались по белому полотну и наводили на думы о том, что всеми людьми на Земле кто-то управляет. Кто-то невидимый, кто, появившись он перед Сергеем, помог бы разобраться со смыслом жизни.

Кроме того, бег укреплял мышцы и выносливость.

Он тренировался полтора года и успел вкушать сладость вдохновенного движения, когда не бежишь, а кажется, паришь в воздухе, не касаясь земли ногами. Но сегодня не тот случай. Марафон начался около четырёх часов назад у входа в парк и пролегал по западной части города, где на полдня перекрыли автомобильное движение. Силы закончились ровно на тридцать пятом километре, когда он в четвёртый раз подбегал к парку. А на тридцать шестом потемнело в глазах. «Не могу, – подумал он. – Упаду. Видимо, сделал слишком быстрый старт. Как в жизни: переоценишь свои силы и пиши пропало».

Вспомнил, что подобное произошло с ним в институте, когда взял для диплома сложную, малознакомую, но престижную тему и завалил диплом. Пришлось через год писать заново. Тут иное дело. Можно исправить ситуацию, не дожидаясь следующего забега. Надо только собраться и сосредоточиться на единственной цели – умерить темп и выйти на ровный ритм. Это поможет

сберечь силы. Однако цель уплывала: её трудно было поймать среди спутавшихся, сбившихся в ком мыслей. А надо, надо поймать! Нужно сконцентрироваться, напрячься и бежать дальше.

Сергей знал, всё дело не в подкашивающихся ногах, не в разламывающейся спине, не в окаменевших икрах и не в заложенных ушах, а в голове. В том, чем она была забита в данный момент – позитивом или наоборот, чем-то тусклым, что утянет в сторону от маршрута. Сейчас, после тридцати пяти километров, когда силы были на исходе, думалось о мрачном – о том, что в жизни нет никакого смысла, всё дрянь и суета; что человек всю жизнь бьётся, куда-то мчится, стремится куда-то успеть, что-то не пропустить, а ради чего? Ради того, чтобы, как он – в конце марафона сказать себе, что смог пробежать сорок два километра? Но что изменится после этого? Ровным счётом ничего. Мир не перестанет быть злым. Да и сам он останется прежним: те же руки, те же ноги, только измотанные долгим бегом.

Искушение уйти с дистанции было велико. «Подумаешь, – расфантазировался он, – диплом переписал, и марафон... перепишу... через год... если захочу». Сбавив темп, он ещё продолжал бежать, но уже мечтал о покое. О том, что поедет сейчас домой, примет душ и будет спать. И чёрт с ним, с этим марафоном. Ну, не вышло. С кем не бывает. И не важно, что теперь во век не отмоешься от чувства стыда перед самим собой за то, что сдался. Ничего, переживёт. К горлу подступил комок, а в глазах защищало. То ли пот потёк

по лицу, то ли заструились слёзы. И то, и другое было нестерпимо солёным.

В тот момент, когда готов был разрыдаться – навзрыд, не стесняясь близких волонтеров и толпы зрителей по сторонам дороги, Сергей услышал колокольный звон, прозвучавший, как залп. Удар чугунных гигантов резанул по ушам и отрезвил, словно в спину, в плечи ударили струёй холодной воды из шланга. Сергея внезапно пронзила мысль, что всё это недаром, что колокольный звон – это знак свыше, нечто вроде подарка, брошенного кем-то, чтобы взбодрить его, Сергея. Он как-то разом, мгновенно, принял подарок и стал вслушиваться в звон, ощущая, как по телу пробегает дрожь.

Вспомнил, что на финише его будут встречать жена и дочь. И если он не придёт, не приползёт, не притащит своё измученное тело к заключительной черте, Наташа подумает, что её муж слабак. Вслух не скажет и даже одобрит его решение уйти с дистанции, но подумает. А дочь ещё больше нахмурится и не будет с ним разговаривать. Тут Сергей почувствовал, что поймал определённый ритм, совпадающий со звоном церковных колоколов: бом, бом, бом – раз-два, раз-два, раз-два, и воодушевился. Пунктир колокольного гула распластался над дорогой, заряжая Сергея своей энергией. Да, точно. Вот, только так – вместе с колоколами и бежать.

Желание уйти с дистанции пропало.

Сергею удалось выцарапать из хаоса мыслей одну, единственно здравую, и уцепиться за неё:

нужно не прекращать движение и войти в чёткий ритм, пусть он будет медленным, но, главное, не отступать, не торопиться. Максимально расслабиться и освободить дыхание. Думать, что бежишь по парку, и не заботиться о времени. Пусть себе плывёт, и он поплывёт вместе с ним. Сергей двинулся дальше, подстраиваясь под размеренное биение колоколов. Слева он увидел храм. Странно, что не заметил его раньше, ведь бежит не первый круг!

Это был Пантелеймоновский храм, самый большой в городе. Сергей никогда не заходил в него, да и вообще, не обращал внимания. Храм и храм, стоит и стоит. Но сейчас задержал на нём взгляд. Купола блестели на солнце. Выглянув из-за туч, оно позолотило крест наверху и разбросало лучи по деревьям. Храм стоял впритык к парку. Перед воротами сидели нищие: мужчина и две женщины. Их вид говорил о глубокой печали. Задумывались ли они о смысле жизни? Кто двигал этими согбенными тёмными фигурами, кто посадил их перед папертью?

Звуки колокола смолкли.

Сергей по возможности расправил плечи, усмирил дыхание и продолжил работать ногами. Чудесным образом бежать стало легче. Куда-то ушла тяжесть со спины, расслабились мышцы и, вообще, появилось чувство наслаждения бегом, как это бывало на тренировках в парке, когда он не думал ни о времени, ни о проблемах, а только о том, что само шло в голову и воспринималось как невесомые размытые тени в теновом игрушечном

театре. Сейчас там виднелись очертания храма с несколькими куполами. Сергей почему-то вспомнил, как его крестили. Он узнал в фигурках на белом экране себя пятилетнего, вихрастого лопухого мальчишку и бабушку. Бабушка только что приехала из Сибири, в руках у неё был чемодан. Потом чемодан исчез, обе фигурки двинулись к храму. Появился священник в рясе, он стал лить на голову Сергея воду из ковша, а бабушка стояла рядом. Она то и дело совершала руками крестобразные движения.

Теневой театр воспоминаний рассказал, что было дальше. Картинка поменялась: вот он уже школьник, старшекласник, приехал к бабушке в деревню, купается в речке. Фигурка юноши прыгает в волнах, речка колышется, как живая. На берегу бродят коровы. Он выходит из речки и едет на велосипеде к деревне. Проезжает мимо церкви. В проёме появляется бабушка и зовёт Сергея к себе. Они вместе возвращаются в церковь, и на этом всё обрывается. Фонарь за экраном гаснет, тени исчезают. Да, так оно и было. Сергей хорошо помнит ощущение юношеской силы, свежести, рыбный запах речки и зноя на берегу. Помнит, как зашёл вслед за бабушкой в церковь, в прохладный полумрак здания, как на него дыхнуло ароматом свечей и сладкого дымка, но что там оказалось внутри, забыл. Удивительно, что после этого он ни разу в своей жизни не бывал в церкви. Постепенно эпизод стёрся из памяти, его заслонил институт, женитьба, работа в проектом отделе. Странно, что вспомнился

сейчас, во время марафона... А всё же – что там внутри храма?

Незаметно для себя Сергей сделал круг.

Бежал он теперь на предельно минимальной скорости, почти шагом, однако это был бег – трусцой: руки согнуты в локтях, кроссовки шаркали по асфальту. Дыхание выровнялось, сердце больше не оглушало, и даже пот сделался мягче. Голова стала чистой, ясной, без единой мысли. Сергей разглядывал знакомые улицы: вот старенький, распластаный на квартал, двухэтажный ЦУМ, где Сергей покупал дочери велосипед. Вот кирпичная, с колоннами и портиком дача какого-то генерала, жившего здесь до революции. Вот квадратное здание краеведческого музея в два этажа, в котором до революции жил священник, на первом этаже располагалась зала, где устраивали балы, а наверх вела широкая, добротная лестница с деревянными перилами. Сергей водил туда дочь и удивлялся, что у священника мог быть такой богатый просторный дом. На театральной площади толпился народ. Звучала музыка. Там кипело веселье, слышался разноголосый шум.

Большую часть времени Сергей бежал один. Изредка кто-то обгонял его. Марафонцы выглядели вполне уверенно, лишь единицы, как он, едва волочили ноги. Попадались среди них такие, которые бежали расхлябанно, коряво, нелепо размахивая руками и вскидывая ноги. Было понятно, что бедолаги не знают элементарных правил бега и бегут на энтузиазме. Глядя на то, как они растопыривают локти и подпрыгива-

ют, Сергей мысленно поблагодарил своего тренера, научившего его дышать и ставить стопу так, чтобы не нанести себе травмы. Но всё же и те, и другие обходили Сергея с двух сторон. Ни у кого из них не было сил перекинуться друг с другом парой слов. Потные, пыльные, с красными лицами и выпученными глазами, все они тоже испытывали себя на прочность и до других им не было дела.

Несколько минут Сергей видел спину уходящего вперёд очередного спортсмена, и снова оставался в одиночестве. Никто из стоящих на обочине зрителей не подбадривал его, это было кстати. Любые громкие призывы он воспринял бы как издёвку. Откуда-то донёсся смех. «Надо мной смеются, – подумал он, испытывая упоительное чувство злости, которая помогала бежать вперёд и вперёд. Если бы не злость, не беспредельное упрямство, и если бы не колокольный звон, зарядивший его уверенностью, Сергей давно бы остановился.

Он снова оказался возле Пантелеймоновской церкви. Нищие у ворот по-прежнему пребывали в печали, даже большей, чем тридцать минут назад. Из церкви выходили люди с веточками вербы в руках. Все были веселы, но никто не подавал скорбной троице. «Вербное воскресенье!» – догадался Сергей, вспомнив о том, что накануне слышал разговоры о празднике. Не слышать их было нельзя, потому что бабки у подъезда, женщины перед кассой в «Пятёрочке», уборщица в офисе только и говорили о том, какая пышная уроди-

лась верба и что надо обязательно освятить её в церкви. Освятить – зачем? Вербное воскресенье, значит... Что означают эти слова, Сергей не знал.

Внезапно его озарила мысль о связи Вербного воскресенья и Иисуса Христа. Откуда пришла мысль – непонятно. Сергей никогда не думал о вере, он даже нательного крестика не носил. Припомнилось, что бабушка вместо верёвочки и простенького, лёгкого, как скрепка, крестика, который он снял с себя в начальных классах, купила ему витую серебряную цепочку и серебряный массивный крест со скульптурным изображением Христа.

Перед глазами вновь появилась картинка из теневого театра: вот фигурка бабушки. Она тянется к шее Сергея, ставшего выше её ростом на целую голову. Сергей склоняется, и крестик оказывается на его груди. Память сохранила тот день, а кожа – ощущение прохлады и тяжести крестика. Это случилось перед окончанием института. Он помнит, что снял крестик, как только бабушка уехала. Где сейчас её подарок с распятым Христом на кресте? Голгофа и распятие – единственное, что он знал об Иисусе. Ещё Пасха. И Троица. То, что было на слуху, то, что невозможно было не услышать. Но какой во всём этом был смысл? Вот. Опять это смутное слово, не дающее покоя, – «смысл»! Смысл жизни, смысл Пасхи и Троицы, смысл Вербного воскресенья – что это? Озарившая его мысль подействовала сильнее, чем энергетический гель. Было чувство, что его перезарядили.

Удалившись от храма, Сергей поймал себя на том, что ему хочется поскорее пробежать круг и снова увидеть купола, ажурную ограду и нищих. Возможно, кто-то подаст им, и они хоть немного, но повеселеют? Он хотел прибавить скорости, но сердце затарахтело, и он сдержал себя. «Наверное, я мало тренировался, – подумал, – ещё нет привычки к постоянству. Бегать три раза в неделю и надеяться пробежать марафон глупо. Но ведь возможно! Если верить себе. Но что такое «верить»? То же это самое, что верить в Бога или уже другое? И как это связано со смыслом жизни? И связано ли вообще? Надо поразмыслить во время тренировки».

На следующем круге увидел, что нищие по-прежнему сидят у входа на территорию храма. Их печальные лица были обращены в сторону бегущих по дороге спортсменов. Когда Сергей поравнялся с ними, они закричали:

– Давай, жми! Крути педали, парень!

Наверное, нищие почувствовали в Сергее своего, тоже убогого, только несколько в ином смысле: может быть, и не лишённого денег, но плетущегося, как и они, в хвосте жизненного потока. С высоты своего покоя они пожалели его, вынужденного выкладываться на полную катушку – ради чего? Им было непонятно. Волонтёры тоже поддерживали бегунов, они радостно кричали, когда спортсмены пробегали мимо, и это имело значение. Но поддержка от нищих показалась Сергею особенно важной, вероятно, потому, что исходила от искренних, простодушных сердец.

Круг был преодолён, за ним следующий, последний. Он бежал с одной мыслью: увидеть храм, ставший планкой, которая возбуждала в Сергее активность и побуждала не сдаваться. Нищие были на месте и снова кричали ему слова ободрения. Сергей помахал троице рукой и повернул направо, на улицу Кисловодскую, ведущую к финишу.

На площадке уже никого не было, кроме двух волонтеров, нетерпеливо подпрыгивающих на месте в ожидании последнего бегуна. Одна из девушек накинула на Сергея, продолжавшего движение, медаль, и обе они умчались к толпе у рекламных баннеров, где шло активное фотографирование и слышались восторженные крики. Минуты три Сергей не мог остановиться, постепенно переходя на быстрый шаг, а потом на медленный. Он видел жену и дочь, с горящими глазами стоявших у стола. Они терпеливо ждали, когда Сергей отдышится. Лицо дочери светилось. Девочка широко улыбалась, она протягивала отцу несколько веточек вербы. Сергей сглотнул ком в горле и бросился в объятия любимых людей.

Великий пост

Заканчивалась первая неделя Великого поста. Дни стояли тёмные, сумрачные, наполненные густыми туманами, которые приходили с востока, со стороны гор. Туман достигал города в считанные минуты. Часов в семь утра Осип Макеевич выходил на балкон и по привычке долго глядел

на улицу, угадывая, какой ждать погоды. И каждый раз вздыхал: опять солнце размыто, опять сыро, опять двадцать пять... Ему было хорошо видно, как с востока ползло плотное облако серого марева, сквозь которое едва пробивались солнечные лучи. Облако двигалось, подминая под себя крыши, фонарные столбы, деревья и наконец достигало дома, в котором в грустном одиночестве на пятом этаже в двухкомнатной квартире жил Осип Макеевич.

Иногда воздух за окном бывал таким непроницаемым, что невозможно было разглядеть стоящие внизу машины. Туман ластился к стёклам, и тонкими влажными струйками проникал на балкон сквозь щели разболтанных рам. Осип Макеевич раскрывал одну из них и выставлял старческую, высохшую от времени руку наружу – жёлтой ладонью вверх. Кожа тотчас покрывалась микроскопическими каплями воды, как будто её касалось чьё-то холодное дыхание. Постояв так несколько секунд, он вытирал ладонь о шершавые щёки и морщинистый лоб, ощущая уличную зябкость мартовского утра. В этот момент он напоминал себе мальчишку, который допоздна заигрался во дворе, замёрз, проголодался, но был радостен и весел. Это продолжалось недолго, ровно столько, сколько высохали щёки и лоб. Однако и малого времени хватало, чтобы взбодриться ото сна и улыбнуться наступающему дню.

Осип Макеевич закрывал раму и, шаркая изношенными тапочками, которые на самом деле были вовсе и не тапочки, а нечто среднее между

шлёпанцами и стоптанными кедами, шёл в комнату. Садился на скрипучую кровать и читал по маленькому затрёпанному молитвослову утреннюю молитву: «Слава Тебе, Христе Божий мой, что Ты не погубил меня с беззакониями моими, но до сего времени ещё Ты терпишь грехам моим». Он хоть и знал молитву наизусть, предпочитал читать её, потому что так оно выходило сердечней, понятливей.

Слова разлетались по комнате, и появлялось ощущение благостного умиления, которое посещало Осипа Макеевича только по утрам и только при чтении «Слава Тебе, Христе Боже мой». Кроме этой молитвы он знал ещё две, «Отче наш» и «Богородица Дево, радуйся», но две последние читал вечером. Читал долго, вдумчиво, испытывая наслаждение от каждого слова. Мягкие губы его неровно двигались, так же двигались и кустистые седые брови, выражая внутренний трепет и волнение.

Осип Макеевич не считал себя верующим человеком. Вернее, не знал, можно ли таковым себя считать, потому что в церкви бывал редко, по настроению, не исповедовался и не причащался. Он сильно стеснялся священников и робел, когда видел человека в рясе. На него нападал столбняк и перехватывало дыхание. Переделать себя Осип Макеевич уже не мог: в восемьдесят шесть лет трудно заводить новые привычки. До всего в религии он доходил собственным умом. Началось всё лет двенадцать назад, когда в мир иной ушла его супруга, и он остался один. Правда,

рядом жила разведённая дочь, а в другом конце города – замужняя внучка. Но как-то так вышло, что сердечности в отношениях не было. Никто не горел желанием встречаться. Осип Макеевич чувствовал себя брошенным.

Да, до всего в религии доходил он своим умом. Доходил тяжело, со скрипом, проматывая назад плёнку своей жизни, вспоминая ошибки и сопоставляя некоторые факты, которые порой казались чем-то сверхъестественным, необъяснимым. В этой сверхъестественности он и увидел Бога, почувствовал Его справедливую длань и тёплый вздох любви. Осипу Макеевичу хватало трёх молитв и отрывного церковного календаря, чтобы душа его была спокойна и умиротворена.

В дни Рождественского поста и поста Великого он к утренней молитве прибавлял ещё пятидесятый псалом, полюбившийся тем, что в нём с необычайной силой звучала просьба о прощении грехов. Но это уже был настоящий труд – справиться с псалмом. Читать Осип Макеевич не любил, к тому же и очки давно устарели. Он больше смотрел телевизор или пускался в разговоры, если предоставлялся случай. Поэтому одолеть псалом было для него нелёгким делом, но он с ним справлялся, помогая себе бровями, которые то взлетали ко лбу, то сходились на переносице, то блаженно расправлялись, и потом долго лежал на диване, отдыхая и осмысливая то, что только что прочитал.

Мысли грузно ворочались в голове, вызывая лёгкую боль в висках, а дыхание становилось пре-

рывистым. Но он всё равно читал псалом, испытывая странное наслаждение от болезненных ощущений. Когда эти ощущения заканчивались, наступала такая лёгкость, что Осип Макеевич по первости даже пугался: уж не помер ли он, уж не ангелы ли завладели его душой и несут её к Богу? Но потом привык и ждал этой благоговеющей минуты, чтобы как будто заново народиться на свет божий. Вот и сегодня, прочитав молитву и пятидесятый псалом, опустошённо повалился на постель и закрыл глаза, прислушиваясь к постукиванию в висках. Затем, дождавшись, когда виски успокоились, а в душе наступила невесомость, встал и широко перекрестился.

День начался. Осип Макеевич скудно позавтракал вчерашней жареной картошкой и несладким чаем. Скудно – не потому что пост. Просто он давно уже питался как воробышек. В пост ел всё без исключения, только очень маленькими порциями и убирал сахар из рациона и сало. Надо же в чём-то себя ограничить, думал он, пряча кусок им же приготовленного пахучего сала в дальний угол морозилки.

После завтрака Осип Макеевич тщательно вытер стол и принёс из серванта школьную тетрадку, наполовину исписанную. С некоторых пор им овладела страсть к сочинительству. Это было второе, после молитв и псалмов, занятие, которое появилось на фоне одиночества. Осип Макеевич вдруг стал писать стихи. Небольшие, строчек в восемь, всегда на одну тему – о том, как грустно ему живётся и как быстро уходит время.

Он не знал, считать ли его стихи стихами. Иногда чувствовал, что в них что-то не так, что-то с чем-то не сходится, но продолжал писать, потому что сочинительство приносило такое же облегчение, как и молитвы.

Однажды он показал стихи внучке, надеясь на похвалу и понимание. Но внучка громко рассмеялась и безжалостно заявила:

– Дед, ну, разве это стихи? Рифма не сходится, одна строчка длиннее трёх остальных. Ты бы лучше Пушкина почитал, поучился.

Осип Макеевич обиделся. Ему его стихи нравились. Он чувствовал, как из души выливается что-то горькое и переходит в строчки, освобождая в душе место для жизни. Он ничего не сказал внучке, но сочинять продолжил. Сегодня отчего-то не писалось, впрочем, как и вчера. Может, всё дело в тумане? Быстрее бы выглянуло солнце... Осип Макеевич принялся ходить из угла в угол, поправляя вещички на полках, расправляя плед на диване, взбивая и перекладывая с места на место подушки.

Закончив наводить порядок, взял гирию в пять килограммов, всю проржавевшую, и занялся упражнениями. Раньше он легко перебрасывал груз из одной руки в другую, сгибая и разгибая руку, прижимая гирию к груди. Сейчас всё давалось с напряжением и не больше трёх-пяти раз. Уже при счёте «два» руки начинали дрожать, и гирия норовила упасть на пол. Осип Макеевич пыхтел, но не сдавался. У него была слабая спина, и таким образом он всю жизнь укреплял свой

мышечный корсет. После гири он смотрел телевизор, потом дремал, потом варил себе жидкий суп с вермишелью, куда накрошил репчатого лука и хлеба. После обеда снова смотрел телевизор и снова дремал.

В начале пятого оделся и вышел из дома.

К улицам подкрадывались сумерки. Туман неохотно отступил, оставив после себя плотный влажный воздух, в котором улавливалось дыхание весны, ещё несмелой, но уже по-юному дерзкой, задиристой. Дома и деревья, тёмные, невесёлые, не успев толком пробудиться, вновь готовились к ночному сну. Кое-где зажигались огни, пахло землёй, свежестью, и чем-то пряным, как это обычно бывает, когда наступает весна, и набухают почки. Несмотря на серость дня, нечто яркое, энергичное носилось в воздухе и заставляло дышать полной грудью. Вдали смутно виднелись круглые синеватые облака, слегка зашторенные уходящим туманом, более прозрачным, чем утром.

Перед Никольской церковью, блестящей синими боками, Осип Макеевич увидел множество разных легковых автомобилей. «Служба», – догадался он и, перекрестившись, шагнул на деревянное крыльцо, затем в храм. Там стеной стояли люди, а за ними брезжил свет, как будто там, у Царских ворот, разгоралась заря. Запах многолюдного дыхания и тепла от горящих свечей ударил в ноздри. Осип Макеевич ещё раз перекрестился. Он вошёл в тот момент, когда

молодой батюшка в очках, с короткой бородкой сказал:

– А теперь мы с вами проведём общую исповедь. Слушайте внимательно и кайтесь, кайтесь, ибо сказано Ефремом Сириным: «... лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра».

Осип Макеевич притулился у стенки, где нашёл место, и прислушался. Общая исповедь заинтересовала его, потому что он прежде не знал, что такая существует. Батюшка прочитал слова незнакомой молитвы, а потом начал перечислять все возможные грехи. И тут Осип Макеевич несказанно удивился. Раньше он считал, что грехи – это что-то тяжкое, вроде убийства, предательства, воровства и другого им подобного. Но из слов батюшки выходило, что редко какая мысль не бывает греховной, а уж поступки греховны на каждом шагу!

Перечисление грехов продолжалось минут пятнадцать. Слыша такое, Осип Макеевич изумлялся всё больше. Он ждал, что батюшка вот-вот закончит свою речь, но тот всё продолжал и продолжал, чем вгонял Осипа Макеевича в смятение. Осип Макеевич почувствовал, как весь сжался, сгорбился, как грудь ушла куда-то внутрь, а сердце опустилось к животу. Его как будто придавило чем-то тяжёлым. Придавило, да ещё и скрутило так, что ни рукой пошевелинуть, ни голову повернуть. Долго так стоял Осип Макеевич, готовый заплакать от чувства стыда за свою жизнь,

от чувства горечи и своей бестолковости. В его-то возрасте не знать, что такое грехи! Не знать и не каяться в них! В каком-то дурмане и страшном смятении он достоял до того, как умолк батюшка, сказавший напоследок:

– Все, кто сегодня присутствовал на общей исповеди, завтра после Литургии можете подходить к причастию.

– Что? Как? – не понял Осип Макеевич и спросил у старушки:

– Что – после Литургии? Можно причаститься?

Старушка, добродушная на вид, строго ответила:

– Ну, как же? Завтра утром после службы будет причастие, такое правило.

Она недовольным тоном что-то ещё говорила Осипу Макеевичу, но он уже не слушал и выходил из церкви. Он понял главное: завтра после службы можно будет причаститься, то есть подойти к Чаше и съесть то, что священник кладёт в рот людям. Осип Макеевич ни разу этого не делал, только видел, как причащаются другие. И знал, что в Чаше – тело и кровь Христовы. Раньше он думал обо всём этом с долей скептицизма, а тут самому страстно захотелось подойти к Чаше с раскрытым ртом и сложенными на груди крест-накрест руками, чтобы впустить в себя Христа, к которому он после исповеди проникся великим уважением и доверием.

Стоя в храме, он вдруг осознал свою ужасную греховность, своё ничтожество и мерзость, свою убогость перед лицом Бога и поразился Его долготерпению по отношению к нему, Осипу Макеевичу. Ведь многие в его возрасте уже еле ноги волочат, уже сами и постель не заправят, на горшок не сходят. А он ещё полон сил: летом на огороде ковыряется, зимой дома с гирей тренируется. Осип Макеевич увидел, что Бог не сердится на него, бывшего слесаря-гуляку, коли позволил дотянуть почти до девяноста лет. Не сердится, а, напротив, поддерживает. Поэтому он твёрдо, радостно и вдохновенно решил стать поближе к Богу, попробовав из Его Чаши.

Домой Осип Макеевич возвращался, не замечая мелкого дождика и ветра. Он думал о том, что ничего не просит у Бога, кроме как сохранить существующее положение вещей, чтобы в жизни оставался огород, гиря, стихи, молитвы с псалмом и его родные, пусть и такие равнодушные к нему...

ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА

ЛАПТИ

Мои бабушки, вятские крестьянские уроженки, Евдокия Ивановна Шишкина и Анна Федоровна Евдокимова, едва могли написать свою фамилию в какой-нибудь неизбежной бумаге, требующей подписи. Не умели они и читать, разве что «по складам» разбирали какой-нибудь важный документ или весточку от родственников, находящихся на войне, в неволе или в далеких краях.

В юности, в студенческие годы, когда боготворимая Литература захлестывала меня своими чудными книгами наших и тамошних классиков, я часто удивлялся: как же так, мои бабушки, люди исключительной внутренней силы и поразительной духовной чистоты, люди созидания и бескорыстия, не читали даже



**Евгений
ШИШКИН**

Проза



Пушкина и Льва Толстого, не говоря уже о заморских Маркесе и Вулфе? А более изумительно – не испытывали, казалось, даже малой потребности в поэтических щедротах «Евгения Онегина» или откровениях Анны, героини яснополянского гиганта.

Позднее в одном из томиков стихов меня привлекла фраза из послания Пушкина своему другу: «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст...» Ирония молодого Пушкина угадывалась несомненно, но между тем смысл строчки был весьма серьезен, точен и поучителен. Жизнь, натура трогает человека всегда более, острее и глубже, чем писательские фантазии, потому и цена женской улыбки, радости матери или слезы ребенка может быть выше поэм Гомера.

Еще позднее, спустя годы, и несмотря на то, что всю сознательную жизнь оставался предан Литературе, я утвердился во мнении, что искусство со всей его интересностью, влекомостью, захватом, – недаром тот же Пушкин писал: «над вымыслом слезами обольюсь...» – есть в жизни все-таки область очень и очень прикладная, сопутствующая природе, отчасти легкомысленная и праздная.

Землепашец и врач, конструктор и офицер, судья и священник – они способны исчерпывающе заполнять своими деяниями жизнь общества. Светскому же искусству, и даже возносимой мной Литературе, по жизни отводится роль необязательной гувернантки или милой утехи, хотя и гувернантка может оказаться умницей, а в уте-

хе может быть много искренности, очарования, смысла.

Словом, сила духа, справедливость суждений и подлинная культура характера давалась моим безграмотным бабушкам из самой жизни, из самой природы, из труда, который полонил их с малых лет и до последнего смертного передыха...

«В борозде как-то раз рожала. С покоса шли. Раньше ведь ни про какие декретные отпуска не ведывали...»

«Только угляжу на угоре машину, всю меня обушмарит, дрожу как лист. Вдруг «черный ворон», вдруг выселять едут... Старая швейная машинка была, дак ведь и ту конфисковали...»

«Сперва мальчишки-двойняшки от тифу померли. Потом и Валюшку, дочку, на восьмом году Бог прибрал...»

«Сиротой росла. Мамушка-то рано ушла. А тятя посылал нас по деревням куски собирать...»

«Храм-от какой красивый стоял. Большевики ломали да радовались. Теперь какую-то филармонию выстроили...»

Даже этих коротких фраз хватало понять, как учила их жизнь. Впрочем, о настоящей учебе, об образовании, и Евдокия Ивановна, и Анна Федоровна, упоительно мечтали. Не раз я слышал от них: «О-о-ох! Кабы я грамотна-то была, глядишь, и жись-то не этак бы выстелилась. Букваря и того не далось пройти...» Но букварь букварем, а красоту их духовного уклада, мудрость, несуетность, трезвомыслие и спокой привились к ним уж точ-

но помимо всяких литературных размышлизмов и красот.

В отличие от мной любимых и почитаемых бабушек, я получил весьма хорошее образование, сам преподавал, написал книги, общался с очень даровитыми людьми, ломал копыя в каких-то интеллектуальных спорах. А всё тихонько иной раз проскальзывала странная мыслишка: Пушкин – он и есть Пушкин, литературный гений, а по жизни-то Арина Родионовна выйдет мудрей...

Мудрость человеку, вероятно, дает органика жизни, – органичные знания, которые черпаются из материи, из естества мира, органичные поступки, не противоречащие человеческой природе, органичная мораль, – мораль равновесия и справедливости, совсем не та, которую привносят в общество лукавые умы претендующих на власть людей.

О том, что мои бабушки очень сильные мудрые люди, я вполне осознал будучи уже взрослым человеком и уже тогда, к сожалению, когда они покинули наш мир. А впервые природного, сильного и мудрого человека я встретил и распознал в детстве, в школьные годы, может быть, учась в классе втором или третьем (в середине шестидесятых). О том, что это человек особой породы, я подсознательно усвоил сразу. Случилось это на центральном кировском рынке, куда по воскресным дням мы ходили с матерью.

Мы ходили с ней вдоль открытых торговых рядов, мимо уставленных всякой всячиной при-

лавков. День стоял ведренный, гомонливый, яркий. На прилавках громоздились холмы творога, покутанные в марлю, стояли зеленоватые четверти с молоком, банки сметаны; медовый ряд привлекал янтарными сотами, вокруг которых вились полосатые осы. На одних торговых рядках лежали овощи, яблоки, зелень разных сортов, на других – парное мясо, сало, густо посыпанное красным перцем или крупной солью; на третьих – всяческая утварь, важная для хозяйства, и тут же – безделицы вроде раскрашенных деревянных свистулук.

Но все это изобилие прилавков для меня как-то разом померкло, когда я увидел этого старика. Крупного сложения, но нетолстого, высокого и не сутулого, с густой седой бородой, остриженной аккуратно – полукругом, с загорелым, посеченным морщинами лицом. Одет был старик в косоворотку, в светлую косоворотку, сшитую, видать, не фабричной швеей, а домашней умелицей из посконной, грубой и, возможно, домотканой льняной ткани. Такие косоворотки уже никто не носил в ту пору в Кирове, их разве что встретишь у сельских жителей, да и то в редкость. Старик-то и был из сельских жителей – наверняка. И подпоясан он был не ремнем, а веревочной подпояской. На голове – картуз, именно картуз, не фуражка, не шляпа, таких картузов тоже поискать еще... Но самое важное, от чего я и вовсе оторопел, не встречая такого еще на городском рынке, были его обувки. Лапти! Настоящие лапти, не какая-нибудь игра в ряженных, а исконные, вероятно,

этим стариком и сплетенные лапти. Икры старика охватывали белые обмотки, по-иному – онучи, и ступал он в своей исключительной обувке очень легко, даже чувствовалось, что нога у него при ходьбе дышит... А ко всему – как подходящий довесок к его особенному наряду – нес он на плече короб, также сплетенный из широкого лыка. Не рюкзак, которыми обзаводились туристы, не сидор, с которыми ходили солдаты, не котомка, а объемистый угловатый короб.

Старик оказался недалеко от меня, у прилавка, где продавали парафиновые свечи, клубки шпагатов, краски, кисти... Я слышал его короткий разговор с торговавшей этим хозяйством женщиной, с красно накрашенными губами, в цветастой косынке:

– Так написано вон, – ворчливо указывала она старику на какой-то ценник.

– Букво-то я не разбираю, деушка. Не учён, – извинительно щурился он на торговку.

То что, он был безграмотным, это было и не диво: бабушки-то у меня тоже не чтицы. Мне захотелось чем-то помочь старику, прочитать ему, чего требовалось (читать я уже умел недурно), я потянул голову к прилавку, который был почти мне вровень с макушкой, но вопрос старика как-то сам собой разрешился. Он отвернулся от прилавка, и мы оказались с ним друг против дружки. Я смотрел на него зачарованно. Картуз, косоворотка, лапти, короб за плечами, – он словно бы вышел из старой, дореволюционной жизни. Он являл какого-то былинного сеятеля, кото-

рый ходит с лукошком и бросает зерна во вспаханную деревянной сохой землю...

– Здравствуешь, малый! – сказал мне старик, улыбнулся, что-то теплое, доброжелательное блеснуло в далеком загадочном дне его темных глаз. Морщины на лбу доброжелательно приосели, а его большая рука с узлами вен потянулась к картузу; он слегка приподнял картуз в знак приветствия.

Я и вовсе рот разинул. На меня пахнуло не только патриархальностью, но и какой-то благолепностью и чистотой от этого старика. Хотя, конечно, я таких слов не знал, и не смог бы детально рассказать, чем же он подкупил меня, этот старик. Ведь не только внешностью... А он, видя, что я замешкался, вежливо обошел меня и пошагал далее вдоль богатых воскресных базарных рядов.

От матери я поотстал, все еще глядел на радушного светлого старика – хорошо, мягко и основательно ступал он в своих лаптях на землю, неся на плече короб. Даже выйдя за ворота рынка, я еще много раз оборачивался, чтобы найти взглядом этого неожиданного человека, запомнить его поточнее. Да и позже невольно искал среди ботинок, сапог, туфель, босоножек и сандалий так приглянувшиеся мне лапти!

...Минуло много лет с тех шестидесятых годов. Уже давно нет моих бабушек на этом свете. Мне их очень не хватает. Они пережили больше, чем

я. Они и знали чего-то большее, чем знаю я, хотя мне довелось прочитать много умных книг.

Странствуя по России, живя в разных городах, соприкасаясь со сферами искусства, мне часто приходилось видеть людей, безусловно образованных, начитанных, напитанных, казалось бы, культурой, но столь же часто эти интеллектуалы оказывались завистниками, пошляками, лицемерами, которых раздирало тщеславие и жажда богемного превосходства, которое – по естественным законам жизни – как раз свидетельствовало об их малодушии, ущербности, о несвободе от лживых пустых заслуг.

...Не встретить теперь на кировском рынке старых людей в картузах и косоворотках. Но иногда я даже среди московской толпы начинаю оглядываться по сторонам: вдруг появится седобородый старик в лаптях с лыковым коробом на плече, и я замру перед ним хотя бы на минутку и, может быть, стану потом хоть чуточку мудрей.

КАВАЛЕР

Летом к нам, на окраину Вятки-города, на тихие, не знавшие асфальта улочки, непременно навевывался приемщик вторсырья. Дома тут располагались частные, с огородами и дровяниками, да бревенчатые отемнелые заводские бараки, с сараюшками, которые, казалось, сразу построили с инвалидным наклоном. А где больше всего барахла? – именно под кровом таких подсобных построек, имевшихся здесь в избытке. Да на чердаках...

Звали приемщика Кузьмой. За глаза некоторые кликали его с унижительной простотой – Кузя. «И когда Кузя приедет? За зиму стокохламу накопилось. Сбагрить ему подчистую...» Но в лицо его величали уважительно, а то и вовсе с почтением, как учителя, Кузьмой Тимофеевичем.

Профессию его тоже называли всяк на свой манер. Чаще всего – утильщик. Помимо приемщик, иногда – сборщик; некоторые – почему-то барахольщик, а как-то раз мы услышали от старой седой очкастой теткой заумное и заковыристое: «Мануфактурщик».

Привозила Кузьму на точку раздрызганная, вечно пыльная, с вихляющимися, грохотливыми бортами «полуторка» – будто вытащенная откуда-то со свалки. Привозила груженного всякой всячиной, и Кузьма разбивал пункт. На земле устанавливал широкие железные планшетные весы, а поблизости раскладывал и развешивал товар, который в магазинах днем с огнем не сыщешь. Место обустроивал самым заметным, крикливым образом, чтобы подвигнуть народ любого возраста к сбору и сдаче утильсырья. На вытянутый шпагат вдоль ближнего забора развешивал женские платки с красными цветами, коврик с рогатым оленем, махровые клетчатые полотенца, покрывало с тощей узкоглазой китайкой, несущей кувшин с водой; и обязательно – гроздь ярких, в разноцвет, воздушных шаров, которые и магнитили нас, мальчишек, призывая и принуждая к сбору макулатуры, металлолома и тряпья, –

при виде этих шаров руки так и чесались уволочь что-нибудь, что плохо лежит...

Расплатиться за вторсырье Кузьма мог не только товаром, но и деньгами: две копейки за кило металлолома, четыре – за кило старых газет, но деньги – медяшки да бумажки – мало кто брал, женщины зарились на вельвет, тюль да на крепдешин, редкостный в магазинах, или отмеряли черного сатина, из которого шили трусы; мужики приглядывали ходовую половую краску и сурик для крыш, хозяйственный инвентарь, а иногда те и другие брали дребедень: прищепки, глиняную расписную свистульку или книжку-раскраску.

Однажды мы с братом надыбали в собственном сарае и на вышке не годящегося для дела лома: ржавый-прержавый молоток, амбарный замок без ключей, воротные петли от каких-то древних ставень, велосипедную облезлую изувеченную раму, чугунок литров на пять-шесть. Дабы провести утильщика и выторговать у него побольше товару, в чугунок мы положили пару увесистых бульжников, насыпали впридачу сырого – чтоб потяжелее и поплотнее – песку, а сверху, чтоб прикрыть подвох, навалили ржавых гнутых гвоздей, болтов, шайб и гаек.

Все свое богатство за пару ходок мы приволокли Кузьме и воззрились на его смуглые скулы, чтобы он поскорее начинал обвес и оценку нашему сырью. К принесенному нами железу Кузьма особого интереса не проявлял, перевешивал равнодушно, толкнет ногтем по металлической блестящей плашке гирьку, назовет вес и щелкнет

косяшками больших деревянных счетов, которые тоже неизменно держал под боком. Добравшись, однако, до чугунка, Кузьма что-то заподозрил: то ли порядочный вес его смутил, то ли прочитал в наших лицах волнение. Он снял чугунок с весов и приказал:

– Вывалите! Чего там у вас?

Мы с братом мялись, не хотели собственными руками вытряхивать наружу свое жульничество... Кузьма терпеливо ждал. Мы стояли истуканами, глядели на него исподлобья. Наконец Кузьма сам нагнулся, опрокинул чугунок; вместе с гвоздями и гайками оттуда высыпался песок, вывернулись из него серые бока булыжников. Мы нешуточно струхнули, даже переглянулись и подумали: не дать ли дёру – как бы не всыпал нам утильщик, а еще хуже не добрался бы с жалобой до наших родителей. Но до слез было жаль «честного» утиля! Да и угрозливости и злобы Кузьма не проявлял. С рабочей простотой он высыпал весь песок из чугунка, булыжники отшвырнул в траву, в канаву, и кивнул на железяки:

– Гвозди и болты обратно. И на весы!

Мы мгновенно исполнили его приказ – теперь уже чисто плотный чугунок красовался на приемке. Кузьма присел на корточки, потолкал гирьку по плашке и опять щелкнул деревяшками на счетах. Сказал спокойно и убедительно:

– Песок и камень мы не берем. Нам только металл нужен.

На причитающиеся нам деньги мы набрали товару: по свистку, коробку цветных карандашей,

а главное – переводных картинок, которые были тогда в большой моде.

Рассчитавшись с нами, Кузьма, за неимением других клиентов, сел на куль с тряпьем и закурил папиросу «Север». Мы не торопились уходить от него, после его снисходительного отношения к нашему обману мы имели особенное право потеряться возле пункта приема и кое о чем попытаться рассказать Кузьму, – хотя был он немногословен и досужих рассказов от него мы не слышали.

В ту пору – начало шестидесятых – не принято было у старших молотить языком, рассказывать правду и неправду о недавно минувшей войне, выставлять на показ и святость освободительной борьбы, и жестокость, и мерзость неизбежного смертоубийства. Не принято было носить и награды, увешивать грудь не только разными цацками, юбилейными медальками и значками, но и боевыми наградами. А Кузьма никогда, казалось, не снимал со своего старого, облоснившегося, темно-коричневого пиджака две награды, две звезды: одна – цвета меди, другая – под серебро, обе с одинаковыми оранжево-черными ленточками.

– Это не медали, ребята. Ордена Славы, – отвечал на наш вопрос Кузьма. – Их давали исключительно солдатам. За подвиг. Самые высшие награды... Это, – он указывал желтоватым от табака пальцем на звезду медного достоинства, – орден третьей степени, а этот, серебристый – второй. – Он сделал затяжку, прищурился. – Мне ведь и первой степени хотели дать. Документы не

успели оформить, бомба в штаб попала. А то был бы я полным кавалером «Орден Слав». Это даже выше, чем Герой Советского Союза. Почету больше.

О достоинствах и почетности воинских наград мы с братом имели представления покуда примитивные, нам-то высшей солдатской наградой казалась медаль «За отвагу» с выбитым танком на серебристом кругляше, но про Героя Советского Союза мы, конечно, слышали, – и знали, что выше-то их по подвигам не может никто другой сравниться, никакой «кавалер». Причем слово «кавалер» казалось каким-то несерьезным, насмешливым, ну вроде как «Кузя» для имени «Кузьма». Кавалер – это некий ухарь, фраер (это слово мы тогда уже знали), который начистил сапоги, заломил фуражку и пошпарил на вечерку плясать с девками, которые лузгают семечки.

Мы внимательно вглядывались в орден Кузьмы и невольно прикидывали, какой может выйти из него военный герой с двумя подвигами и с еще одним подвигом, который не засчитали, потому что разбомбили штаб. Был Кузьма щупловат, пиджак сидел на нем мешковато, не высок ростом, шея худая, и лицо такое простое, что попадись прохожий с таким лицом, взглянешь на него как на обычный куст акации, которая растет возле дороги.

Про подвиги, даже имея к этому любопытство, мы Кузьму не расспросили, не удалось: к утильпункту пришла седая тетка, та самая, кото-

рая называла Кузьму по-умному «мануфактурщик», принесла куль какого-то барахла и старый небольшой ковер, свернутый в трубочку; нам она шибко не нравилась, и мы ретировались... Да, по правде-то, мы и не поверили словам Кузьмы. Разве мог он совершить боевые подвиги на фронте, а потом стать утильщиком и промышлять разной рванью и рухлядью?! Мы подумывали даже, что награды, а, может быть, и пиджак вместе с наградами он у кого-нибудь выторговал за свой редкий товар; он утильщик, и такой, редкий, товар ему положен для обмена.

Много лет спустя, работая в одном из военных архивов, разыскивая героев земляков, я наткнулся на личное дело рядового красноармейца Кузьмы Тимофеевича Измestьева, фотографии в деле не было, так что сразу определить, тот был Кузьма или не тот, возможности не представлялось. Но наградные документы свидетельствовали, что он дважды «кавалер»... Даже нашлось представление еще на один, «золотой», орден Слав, который Кузьма Тимофеевич так и не получил при жизни. Орден по сей день хранится в военкомате, передать его некому, так как близких родственников у Кузьмы Тимофеевича не оказалось; семьей после войны он не обзавелся, довоенная семья – жена и дочка – скончались от тифа; его мать Клавдия Николаевна умерла рано, в 49-ом, а отец Тимофей Измestьев и двое сыновей (братьев Кузьмы) погибли в годы войны на разных фронтах.

И все же вопрос о фронтовых подвигах мы с братом Кузьме задали, в очередной его приезд.

– Да какие подвиги, ребята, – отмахнулся Кузьма. – Всякий, кто воевал, подвиги делал. В разведку ходил, реку форсировал, дом штурмом брал...

– Ну, хотя бы самый главный подвиг, – не отступали мы.

Кузьма недолго подумал, ответил на полном серьезе:

– Главный подвиг? Я за свой главный подвиг ни медали, ни ордена не получил... Я картину спас.

– Картину? – удивились мы.

– Да. Был такой художник Айвазовский... Так вот однажды, мы тогда Крым освобождали, горел дом. Красивый такой дом, с колоннами, музей какой-то... А возле него баба мечется. Кричит: там же Айвазовский! Кто такой Айвазовский, я тогда не знал. Думал, мужик какой-то в огне погибает. Спрашиваю: где твой Айвазовский? Она мне: «У рояля, на втором этаже!» Я и бросился в дом, в самое полымя... Рояль нашел, дым кругом, а никакого мужика нету. Тут-то я и сообразил, Айвазовский – это картина. Стащил полотно, оно не больно велико и было, чуть поболее метра в длину, – и обратно. Сам обгорел, плечо поранил, а картину спас. Баба, музейщица-то, вся в слезах от радости. Говорит мне: вас в веках будут помнить... – усмехнулся Кузьма.

– А чего на картине-то было? – спросили мы.

– Да я уж позабыл. Море, вроде бы, камни, лодка какая-то. Этот Айвазовский, говорят, только про море и рисовал...

Кузьма достал пачку «Севера», но закуривать не стал. Из-за угла ближнего дома вывернула тетка, толкающая тачку, на которой горой лежал всякий хлам.

УБЕЙ НЕМЦА

Из детства, из того благословенного времени, когда мир радостно изумляет, а кусается еще не очень больно, мне живо помнятся наши семейные походы в гости к родственникам. Родственники – по линии отца: его братья и сестры, их жены и мужья, для нас с братом – дяди и тети.

Жила наша родня в пригороде, в заречье, путь туда был не далек, но всегда волнующ, ибо ездили мы к ним на праздники: Новый год, 8 Марта, Октябрьская, а если День Победы выпадал на воскресенье (тогда этот праздник не был красным днем календаря), то и на 9 Мая.

День Победы нам с братом нравился больше всего: в этот праздник наши дяди-фронтовики надевали награды и кое-что рассказывали о войне (фронтовики в ту пору о войне не распространялись, наградами не хвалились, да и было их у фронтовиков немного, это потом пиджаки стали увешивать юбилейными медальками).

Поутру перед поездкой отец готовил себе и нам с братом обмундирование: до умопомрачительного блеска чистил свои и наши ботинки,

с тщанием пропаривал через марлю брюки от выходных костюмов, закладывал каждому в карман пиджака по наглаженному носовому платку. Мать тоже готовилась к поездке очень усердно, ходила в накрученных бигуди, долго гладилась, примеряла разные серьги и бусы, советовалась с отцом по части платья и воздушной косынки, красилась, что-то забывала, что-то вспоминала, сутилась...

На отца в этот день мы смотрели с уважением. На груди у него – медаль, которую он надевал только на 9 Мая. С барельефом Сталина и оранжево-черной лентой – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Военная история у отца не была боевой и геройской, больше – тыловой, но все же пролегла она по фронтовым рельсам... В армию отец попал незадолго до войны. На учениях, на полигоне, осколком гранаты, неумело брошенной молодым солдатом, отцу раздробило локтевой сустав. Отца отвезли в госпиталь, где военный хирург, не церемонясь, заявил цинично и просто: «Руку не спасти! Надо ампутировать! Комиссуем – поедешь к матери в деревню молочко пить...» – «Чего?! – взбеленился отец. – Отрезать? Не дам!!» – В своем решении он оказался тверд: отрезать не дал. Руку ему спас другой хирург, гражданский. А когда началась война, на строевую службу его не взяли, но взяли на тыловую – в паровозное депо. В годы войны он помощником машиниста гонял составы по северо-западу, не раз попадал под авианале-

ты и бомбежки, но судьба миловала. И награда за Победу была истинно заслуженная.

На 9 Мая мать никогда не ограничивала отца в выпивке. Потому мой старший брат, который соображал насчет выпивки азартнее, чем я, задавал отцу простодушные вопросы:

– Пап, а ты сколько сможешь выпить?

– Четверть! – резко, незамедлительно, категорично отвечала за отца наша мать.

Отец на ее дерзкий выпад отмахивался:

– Болтает она... – И далее он рассуждал: – Смотря при какой закуске. При мясной хорошей закуске: холодец, пельмени, окорок – бутылку белого выпью незаметно...

– Белого – это водка? – уточнял я.

– Ну да. Белого...

– А две выпьешь? – приставал брат.

– Две тоже выпью. Но это уже... – Отец изображал рукой что-то округлое, увертливое.

– А три? – вступал опять я.

– Нет! Три будет много. Даже под любую закуску. Две с половиной еще можно взять, а три много...

От старенькой деревянной автостанции, которая кишела народом, мы ехали в заречье. Сперва дребезгучий автобус вез нас по городу, который был украшен стягами, растяжками, плакатами; у обелисков и танка Т-34, что задирал дуло на постаменте, лежали венки. По дороге попадались группы людей и даже небольшие колонны – ветеранов, школьников, – которые несли венки и цветы на мемориальные кладбища. До Вятки боевые

действия не докатились, но повсюду в городе были госпитали, из них и везли не выживших фронтовиков на воинские захоронения, которых набралось премного.

Автобус был набит битком и, когда поднимался в гору, урчал на последнем издыхании, – казалось, чихнет сейчас, заглохнет и покатится обратно, вниз. Но нет! Не мог автобус подвести в этот день, в день Победы, – солдаты в войну такого зверя одолели, в таких трудностях сдюжили, а автобус вдруг да и подкачает. Не подкачал! Взбирался на гору, делал передых, а дальше вниз катился легко и весело.

В салоне, хоть и тесно, но светло и радостно от праздника. Все вежливы и учтивы, затевались нечаянные знакомства, разговоры, а нас, детей, даже шаливших и без того добавлявших сутолоки, одергивали и приструнивали снисходительно.

Наконец мы в доме родственников, у тети Шуры. Нас тут уже ждут-пождут. Дом у них большой, прихожая огромная, и все выходят нас встречать: кроме хозяйки – тятя Люба, тетя Аля, дядя Федор, дядя Коля и сам хозяин Евгений Ильич. Почему по имени-отчеству? Иначе никто его и не зовет: он учитель математики в школе, а в войну был офицером. Приветствия женщин, объятия, крепкие рукопожатия мужчин, у которых награды на пиджаках; дежурные вопросы-ответы; а за взрослыми нас с братом ждут, жмутся и хихикают наши четыре кузины.

В зале стоит огромный стол, вернее, два стола, объединенных воедино, под белой скатертью. На столе уже блистают посудным золотом тарелки, фужеры, стопки, в центре – ваза с фруктами.

Мать тут же вливается в женскую компанию и отправляется на кухню. Мы с кузинами перемещаемся в детскую и тут же начинаем «дуреть»: тычки, щипки, прыжки на диване, в ход идут и подушки... Дверь в детскую нам, однако, закрыть не дают, чтоб мы были на виду. Мужчины чинно сидят на диване и стульях и курят, (это теперь придумали курить, где попало, на кухнях, на лестничных площадках, даже в туалете, а тогда курили достойно – в комнатах). Сегодня они курили, разумеется, дорогой «Казбек», хотя в обычные дни обходились «Беломором».

Словами мужчины не частили, разговор необязательный, а праздника Победы и войны касался лишь рикошетом:

– Кореш у меня на фронте был. Клоун цирковой. Так он дым из ушей пускал... – посмеиваясь и поблескивая золотой фиксой, вспоминал дядя Коля, он был моложе всех и на фронт попал под конец войны, но два ордена «Красной Звезды» успел заслужить.

– Языками чесали: всех победим, токо сунься! А случилось – одна винтовка на двоих, и та без патронов... Махорки и той в первые годы войны на фронте не хватало... – с обидой на кого-то говорил дядя Федор. Из собравшихся фронтовиков он был самым старшим, и самым герой-

ским... На груди у него – две медали «За отвагу», орден Славы, медаль «За взятие Берлина»; был он дважды ранен, контужен, но оказался живуч, дошел до немецкого логова.

– На немца вся Европа работала. Вот и экипировка у них была великолепная. И табак со всего миру...– сказал Евгений Ильич; у него на лацкане, висела только одна медаль: «За Победу над Японией», хотя мы знали, что и на западном фронте учитель тоже воевал.

– Самосадам обходились. Бабки на станциях продавали. Стаканами, – прибавил на табачную тему отец.

На столе тем временем всё прибывало и прибывало. Холодец, винегрет, салат под майонезом, золотистая от масла, в кольцах лука селедка в продолговатой селедочнице, капуста с вкраплениями клюквы, соленые огурцы и помидоры, окорок тонкими ломтиками. Среди закусок и разносолов особым почтением пользовались рыжики, зелено-бурые, крепенькие, мелкого размера, некоторые настолько малы, что не насадить и на вилку...

Но что бы на столе ни появлялось, мужчины взирали на это несколько отстраненно и отмечать праздник как будто не спешили. Пока на столе не появлялась водка. Из холодильника. Запотевшая. «Столичная». Это было сигналом к началу застолья.

Мужчины, просияв лицами, рассаживались вокруг стола, оставляя место рядышком для своих дам. Дамы окидывали себя взглядом в зеркало,

прихорашивались и подтягивались к столу. Нас, детей, помещали на одну сторону. Хозяин Евгений Ильич брал бутылку водки, срывал за язычок головку... Женщинам наливалась, как правило, «Рябина на коньяке», нам – пузыристое шипучее сидро из темных бутылок.

Первый тост не был за Победу. Первым всегда оставался традиционный: «За встречу!» Говорили все однообразно и пустовато:

- Давайте – за встречу!
- Давайте...
- С приездом!
- Давненько не видались...
- Ну давайте: за всё хорошее!

Взрослые чокались стопками и рюмками со спиртным, мы с братом с двоюродными сестрами – стаканами с лимонадом. Мужчины после охотно приступали к закускам, женщины от выпитого морщились, трясли головой, зорко следили друг за дружкой:

– Ты чего не всю выпила?! Ну-ка давай, давай, полную. Я, погляди-ка, вот всю до капельки...

Разговор начинал разгораться, оценивали закуски, нахваливали рыжики... Мужчинам вскоре хотелось выпить по второй. Теперь уж тост был «За Победу!» Сами же речи и возгласы были опять простецкими:

- С праздником!
- Давайте отцов помянем!

Все вставали. Почти все наши деды, то есть отцы старшего поколения, которое собралось за столом, погибли на фронте. Они первыми встре-

тили врага в самое горячее лихолетье: 41-го – 42-го...

– За отцов! – В глазах женщин появлялись слезы, мужчины темнели лицом. Праздничный настрой сменялся поминальным. Но ненадолго.

– За детей, чтоб без войны прожили!

Взрослые смотрели на нас. Мы с братом стояли по стойке «смирно», твердо держали стаканы с лимонадом.

Затем от нас, детей, негласно требовалось дать короткое представление, соответствующее празднику, что-то вроде концерта. Мы с братом «косили» от таких затей. На выручку приходили кузины. Двое из них занимались в самодеятельных кружках, а одна играла на пианино, так что мы могли шланговать... и как зрители наблюдали выступление.

Сперва одна из сестер прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Читала она проникновенно, тепло.

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди...

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди...

– взволнованно умолял девичий голос.

Все слушали сосредоточенно.

...Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня...

Тут отец, возле которого мы сидели с братом, благодушно хмыкнул и тихо сказал:

– Ерунду сочинил... Мать ждать будет всегда. Пуще всех...

Наш дед, отцов отец, на фронте «пропал без вести», где-то на Калининском направлении. Мы с братом не могли понять: как так «пропал без вести», это же боец, не иголка в стоге сена?! Мать нашего деда, наша прабабушка была жива, своего сына она ждала до сих пор и даже куда-то подавала запрос (сама безграмотная, другие за нее писали): не нашелся ли сын? – хотя минуло уже два десятка лет.

– Мать ждать будет всегда. Пуще всех, – повторил отец.

Дальше самая старшая из наших кузин, которая мечтала стать артисткой и ходила в театральный кружок, читала фрагмент литературной композиции, приготовленной в том же театральном кружке к 9 Мая. Сперва она объявила:

– Из статьи Ильи Эренбурга «Убей!» – Потом она повернулась к публике боком, гордо подняла голову, как настоящая артистка, и читала громко и призывно: – «...Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не

понял угрозы. Если ты не убьёшь немца, немец убьёт тебя». – Она произносила это металлическим голосом и с таким ожесточением, что сама на себя была не похожа, словно какая-то комиссарша из кино. – «...Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов...»

В этом месте не выдержал дядя Федор. Он негромко, но как-то дико, язвительно всхотнул и, чему-то дивясь, тряхнул своим седым чубом; однако монолог «артистки» не прервал, тут же замер, уперся взглядом в пол.

После этого чтения в воздухе скопилось много какой-то напряженности и неловкости, хотя исполнительнице все хлопали в ладоши. И тут хозяйка тетя Шура обратилась к своей дочке, юной пианистке:

– Сыграй песни! А мы споем!

Женщины голосисто спели и про «Катюшу», и «На позицию девушка провожала бойца», и «Огней так много золотых на улицах Саратова...» Вышло очень душевно.

Теперь наступал черед пельменям. Пельмени в застолье – это целый ритуал... От того, каковы пельмени, зависел настрой стола, оценка деятельности хозяйки; обыденное блюдо волшебным образом превращалось в деликатес. Пельмени подавались с маслом, со сметаной, с уксусом, с соусом, с хреном. Один из пельменей был непременно «пустой» – вернее, в нем вместо мяса было тесто; кому такой пельмень доставался, тот считался счастливей всех.

Пельмени у тети Шуры были исключительными... Пиршество продолжалось, говорили о чем-то общем, семейном, родовом. Затем женщины отправились на кухню – вероятно, посеCRETничать на женские темы. А мужчины выпивали, без тостов, кивали друг другу и выпивали. Немного развязывали языки...

Наш отец, хмелея, вспоминал о какой-то поездке, о которой всегда вспоминал по пьяному делу, говорил короткими предложениями:

– Бомба в вагон... Народу тьма-тьмущая. Из Ленинграда в эвакуацию везли. Ребёнок больше всего жалко...

Вот в эти минуты мы с братом и подступали к своим дядям, чтобы что-то выведать о войне, о подвигах, о том, как били фрицев. Больше всех нас манил дядя Коля. Мы знали, что в войну он служил в особом разведбатальоне, пересекал на самолете линию фронта, десантировался в тыл врага, выполнял спецзадание и возвращался назад.

После войны он попал в тюрьму, сидел «за любовь» – так мы слышали от взрослых, но спросить об этом мы его не смели, считали, что он вступился за свою девушку и здорово накостылял сопернику. Был дядя Коля невысок, крепок, никогда не пьянел. И был силачом. Однажды он сказал: «В драке троих держу». Не находилось по округе ни одного, кто мог бы выиграть у него поединок на руках (позднее это назовут армрестлингом). Мы с братом тоже пробовали свалить вдвоем, в четыре руки, его руку. Дядя Коля нам

поддавался – мы радовались. Потом трогали его каменные бицепсы и смеялись...

– Дядь Коль, сколько раз ты прыгал на парашюте? – допытывались мы с братом.

– С парашютом, ребята. Всего девятнадцать прыжков. Четыре – за линию фронта, – отвечал он.

– А наград-то у тебя две! – указывал мой брат на два ордена дяди Коли. – Два задания, значит, не выполнил?

– Не выполнил. Враг-то был больно хитрючий, – улыбался он, блестел золотой фиксой.

В такие минуты застолья совершенно добродушным, мягкотелым и совсем каким-то непедagogичным становился строгий учитель математики Евгений Ильич. Он курил как паровоз. Дым пускал из ноздрей большими столпами. Когда он брал очередную папиросу из коробки, мы с братом зажигали спичку и подносили к его папиросе. Он ласково смотрел на нас и говорил, расплываясь в улыбке:

– Я Ленин...

Мы смотрели на него с недоумением.

– Я Ленин папа... – Он смеялся.

Он безумно любил свою дочку Леночку, которая играла на пианино. Добиться рассказов о войне от Евгения Ильича было почти невозможно. Однако его фронтовую судьбу мы с братом все же узнали – спустя лет сорок, – он поведал нам ее перед смертью, когда был уже глубоким стариком.

«На войну я попал студентом. Знал немецкий. Это меня и погубило... Определили меня в особое

подразделение – заниматься сбором трофеев и немецких архивов. Ох, уж и не любил я эту службу. Рапорты писал, чтоб отправили на передовую... Как же так, я домой вернусь и скажу, что на войне золотые портсигары подбирал и бумаги перекладывал! Только в конце сорок четвертого отправили меня на танковые курсы, потом – на фронт. Командиром танка на новенькую “тридцатьчетверку”. Радовался я, будто каждый день у меня день рождения... И вот первый бой. Атака. Мой танк должен первым промчаться по мосту и войти в населенный пункт... Сигнальная ракета. Вперед! И вдруг на мосту мотор танка глохнет. Ни туда, ни сюда! Атака сорвана. Танк на буксире притащили в расположение части. Меня – под следствие: сорвал важное задание, не подготовил машину к бою, парализовал атаку батальона... Хорошо, был толковый, честный мужик зампотех. Он и доказал, что экипаж танка не виновен, у машины заводской брак. Танк отправили на завод-изготовитель. Оттуда пришел акт. Так и есть: заводской брак в двигателе. Меня освободили. А война к тому времени с Германией кончилась... Мне досталось повоевать только с японцами».

В исповеди Евгения Ильича сквозила горечь, словно на войне с Германией он так и не появился.

...О боях, о фронтовой жизни скупенько делился с нами дядя Федор. Он вскидывал свой седой чуб, смотрел куда-то мимо нас с братом и говорил будто бы для самого себя:

– Всю войну прошел, ранен был. А вот верил, что меня не убьют. Выживу! Только один разок...

Думал, копец котенку... Днепр форсировали ночью, снаряд в наш плот угодил. Я кой-как за бревно уцепился. Держусь, зубы от холода стучат. Несет меня по течению. Чую, силов боле нету. Счас бревно не смогу держать и всё... каюк. Уж и глаза закрыл, и вся жизнь разом примерещилась... Но вдруг: под ногами чего-то твердое. Носком сапога достаю – берег. Еле выкарабкался... Вот так-то. И не верил в Бога, так поверишь...

– Дядя Федор, – подступали мы к нему с братом, – а сколько немцев вы на войне убили?

Он отвечал нешутейно и прямо:

– Бить – бил. А сколь точно, сказать не могу. – Тут дядя Федор рассмеялся, – и не то чтобы весело, и не то чтобы зло, а как-то насмехательски рассмеялся... – Помню, политрук нам статью из газеты читал, ту же самую, что племянница счас говорила... – Дядя Федор гнусовато, видать, передразнивая политрука, произнес: – Убей немца! Убей немца!.. Прочитал он нам эту чепуху, спрашивает: каково ваше мнение? Я встал и говорю. «Убей немца»? Чего там этот писака, сытый, в тепле, из Москвы орет: «Убей немца»? Пускай к нам в окопы приезжает да убьет немца. Хоть одного. Вон, на той стороне, их сколь много. Знай бей! Сколь хошь! И пехота, и танкисты, и артиллеристы – полно немцев-то. Приезжай да бей! Чем языком ветер гонять... – Дядя Федор потянулся к пачке с «Казбеком», которая лежала на столе, но потом убрал руку, полез в карман пиджака, достал помятую пачку «Беломора», закурил. Пальцы у него на правой руке – указательный и средний – были желты от табаку.

– Наливайте, мужики! Помянем тех, кто не выжил...

Урезать в выпивке женщины мужчин даже не пытались. В этой мужиковой пьянке был потаенный смысл, словно они что-то заливали в себе, может, тушили воспоминания о войне, в которой для них было что-то темное, уродливое, большое, даже несмотря на то, что были они победителями.

Пройдет много лет, и мы с братом поймем: это были очень сильные люди. Они одолели голод, холод, войну, тюрьму, ранения, тяжкий крестьянский и заводской труд, они отстояли Родину от фашистов, они восстановили страну из руин. Эти простые русские люди не умели скрываться за чужими спинами, лебезить перед начальством, славословить генсекретарей... Мы с братом каемся, что мало общались с этими родными людьми, чего-то у них не спросили, не разузнали. Нам остается только помнить, что они незримо стоят за нашей спиной.

...Дальше в застолье шло сладкое. Женщины расставляли чайные приборы, тетя Шура подавала огромный пирог, разделенный на квадраты, заполненные повидлом. Чай был очень ароматный. К празднику хозяйка всегда умудрялась доставать что-то особенное.

Все пили крепкий душистый чай с пирогом. Праздник 9 Мая подходил к концу.

Домой мы возвращались по потёмкам. Автобус был набит еще сильнее, чем днем, и мы с братом, прижавшись к отцу-матери, засыпали в толпе стоя.

ГДЕ-ТО ЕСТЬ ГОРОД

(Глава из повести)¹

Дела давно минувших дней

Я возвращаюсь домой. – Основание Водогорска. – Генерал Ермолов. – Шатун-гора и её окрестности. Каракулаки и карагулаки. – Капитан Эберлинг в плену у горцев. – Доктор Гаас и целебные ключи. – Братья Бертолацци. – Покорение Шатун-горы и его последствия.

Окончив в Москве в середине семидесятых годов минувшего века литературный факультет, я вернулся в родные края. Наш городок Водогорск затерялся в южных предгорьях и, как видно по его названию, давно славится своей целебной водой, ничуть не уступающей,

¹ Журнальный вариант.



**Николай
МАРКЕЛОВ**

Краеведение



по мнению учёных, знаменитому кавказскому нарзану.

Одни утверждают, что Водогорск был основан ещё при Екатерине Великой. Другие считают, что это произошло несколько позже, во времена Александра Благословенного, и место для расположения города выбрал не кто иной, как сам командир Отдельного Южного корпуса Алексей Петрович Ермолов. Пробираясь с войском через дремучие леса, генерал неожиданно вышел на открытую местность. Внизу перед ним лежала цветущая солнечная долина, посреди которой, в нагромождении каменных глыб, покрытых ржавым налётом, бил горячий ключ. Вверх по окрестным ущельям уходили караванные тропы, впереди синел лесистый хребет, а ещё дальше вставала стена безымянных льдистых вершин, увенчанная белоснежным неприступным куполом Шатун-горы.

Заворожённый увиденным, генерал долго стоял в раздумье, как некогда царь Пётр на берегу Невы. Эта торжественная и пророческая минута, когда могучая фигура Командора застыла, как на пьедестале, на выступе скалы, многим врезалась в память. Со скрещенными на груди руками, с орлиным взором, устремленным в будущее, он более всего походил тогда на памятник, изваянный в граните самой природой.

Вскоре, отогнав от себя призрачные видения, Алексей Петрович назначил войскам днёвку и собрал своих офицеров. Местный владетель и ротмистр русской службы князь Ахмат-Гирей, бывший при отряде проводником, дал пояснение,

что вся земля вокруг, сколько мог захватить глаз, прежде чем перейти под скипетр российской державы, принадлежала его прадеду Султан-Гирею, а сие урочище издавна известно его народу под названием Джилысу, или Горячая Вода. Родник же, бьющий жаркой струей среди рыжих камней, обладает необыкновенной силой, и древние люди, касоги, пользовались его водой ото всех болезней, а богатырь их Редедя, собираясь на битву, окунался в воду с головой, отчего источник и стал известен среди горцев как Редедин ключ.

Когда подошли ближе, то обнаружили вырубленную в скале ванну, глубиною не менее трех аршин, в оной могло поместиться разом до шести нижних чинов. При погружении в воду всё тело моментально покрывалось узором из мелких пузырьков; непродолжительное пребывание в ванне бодрило, более длительное – вызывало непреодолимую сонливость. При употреблении внутрь вода источника оказалась чуть кисловатой и даже приятной на вкус.

Наутро, когда ударил барабан и горнист протрубил общий сбор, Алексей Петрович объявил войскам свою волю. На возвышенном месте, подле источника, он велел поставить крепость. Гарнизон для нее определил две роты Куринского пехотного полка и сотню гребенских казаков. Командиром сводного отряда оставил своего любимца капитана Эберлинга, приказав ему тотчас начинать рубку леса и вести широкую просеку на большак. И ещё негромко добавил несколько слов, указав рукою в сторону Шатун-горы. Обни-

мая на прощанье казачьего сотника Кривошапкина, сделал ему краткое наставление:

– На тевтона моего я полагаюсь вполне, но и ты, мой друг, не плошай. Пока осмотришь. В ущелья даже носа не суй, голову там сложишь ни за грош, а она мне ещё нужна. К осени пришлою подмену. Ну – бди. С богом!

Напоследок, прохаживаясь перед строем, генерал вопрошал седых усачей:

– Что, мои орёлики-ермолики, все ли испили богатырь-воды? Труды предстоят нам великие...

– Точно так, ваше высокопревосходительство, – ехидно отвечал старый капрал, поплёскивая на груди двумя серебряными крестами, добытыми за Дунаем. – Наглотались досыта...

Тут слышался явный намёк на скудость походного провианта. Алексей Петрович невольно усмехнулся, а впоследствии, когда на его выбор было представлено Эберлингом, тогда уже полковником, три возможных названия для только что возникшего городка – Новогиреевск, Владышатунск и Водогорск, – генерал выбрал последнее, что вскорости и было утверждено указом правительствующего Сената.

Ермолов тронулся в путь и к полудню, преодолев лесные чащи, выбрался в так называемое Застолбье – раздольную холмистую степь, на самом краю которой виднелась едва различимая в знойном мареве, череда каменных столбов, уходящих куда-то в неведомую даль.

Такова легенда, переходящая почти без изменений из одного путеводителя по нашему Южно-

му краю в другой. В студенческие времена, пользуясь книжным обилием столичных библиотек, я смог выяснить и дополнить некоторые её детали по самым надежным источникам, включая такие редкие издания, как записки самого Ермолова и даже упомянутую выше статью полковника Якубовича в журнале «Русская старина».

Полагаю, здесь нет необходимости пространно описывать труды и дни Алексея Петровича Ермолова. Его имя многократно прославлено в русской военной истории. Я позволю себе лишь кратко обозначить самые важные вехи тернистого пути этого выдающегося полководца, испытывавшего и героические взлёты, и горькие превратности переменчивой российской фортуны. Помещаю здесь эти беглые заметки как знак моей вечной признательности человеку, сыгравшему исключительную роль не только в основании, но и в дальнейшей судьбе моего родного Водогорска.

Молодым офицером за отличия при штурме Варшавы он получил из рук Суворова своего первого «Георгия». Участвовал в Персидском походе графа Зубова и пробился с ним за грани Кавказа. Осаждая Дербент, его батарея разбила ядрами крепостную стену, и капитан Ермолов украсил грудь Владимирским крестом. Военный историк Потто приводит слова Алексея Петровича, высказанные им в это время и определившие нашу стратегию на долгие годы вперед: «Кавказ – это огромная крепость, защищаемая миллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого, так поведём же осаду».

Тридцатипяти тысячный отряд Зубова форсировал Куру и вышел в Муганскую степь, дорога на Тегеран была открыта. Среди офицеров корпуса значились, между прочими, атаман Платов и Николай Раевский, преданной дружбой которых Ермолов гордился всю свою жизнь. Затянувшаяся вылазка наших войск на дальний юг вполне могла закончиться взятием иранской столицы, но восшедший на престол Павел скоропалительно поставил на ней крест и вернул полки в прежние границы. При этом сумасброде Алексей Петрович был исключен из службы, по ложному доносу заточён в Петропавловскую крепость, а потом ещё год томился в ссылке.

Молодой Александр благоволил ему. Ермолов получил роту конной артиллерии и добился того, что её признали лучшей во всей нашей армии. Однажды, во время смотра, придирчивый Аракчеев сделал замечание по поводу плачевного состояния батарейных лошадей. Алексей Петрович не замедлил с ответом в том смысле, что репутация офицера у нас часто зависит от скотов. Злой язык всегда доставлял ему много бед. Аракчеев смолчал, но производство Ермолова в следующий чин затянулось так надолго, что тот вынужден был подать в отставку. В рапорте он издевательски просил выпустить его не с повышением, как тогда это было в обычае, а, напротив, с понижением в чине. Полковой командир едва упросил его не давать этой злополучной бумаге ход.

В битвах с Наполеоном Ермолов прославился как упрямый и никогда не отступающий командир, наделённый холодной головой и рыцарской

отвагой. Не многие знают, что в катастрофическом для нас сражении при Аустерлице, столь подробно описанном Львом Толстым в эпопее «Война и мир», полковник Ермолов, подобно князю Андрею, был захвачен французами в плен, правда, ненадолго: подоспевшие казаки отбили его вместе с пушками. Подчиненные боготворили его. Равные и старшие по званию опасались его острого словца. Грозу 12-го года Алексей Петрович встретил уже генералом, самым молодым в наших войсках. Известно, что в ходе Бородинского боя Кутузов, относившийся к Ермолову с отеческой любовью, посылал его на выручку в самые опасные места, и там, где появлялся наш бесстрашный витязь, на белом коне и с кривой турецкой саблей над головой, там неизменно наши брали верх, а француз давал тягу. В пылу сражения он не сразу заметил даже, что вражеской картечью ему сорвало с плеча эполет и до крови оцарапало шею.

Судьба не раз давала ему шанс выдвинуться далеко вперёд из общего ряда. В ходе Бородинской битвы французы завладели Курганной высотой, представлявшей собой основу нашей обороны, угроза разгрома замаячила в едком дыму, – и тут, в этот тревожный и решающий миг, Ермолов отбил высоту у противника и тем самым спас всю нашу армию. По легенде, увлекая в атаку пехоту, он бросал впереди себя Георгиевские кресты, и каждый, кто не сложил здесь голову, поднимал с земли эту вожделенную солдатскую награду.

В упорном и кровавом бою при Малоярославце, преграждая Наполеону дорогу на Калугу,

Ермолов четыре раза был выбит из заваленного трупами городка, но всё-таки удержал позицию до подхода наших главных сил. Наткнувшись на непреодолимую преграду, французы вынуждены были отступать по старой Смоленской дороге, по которой совсем недавно победоносно пришли в Москву, но на этот раз – по дороге позора, отчаяния и смерти.

В сражении при Кульме Ермолов принял командование войсками у графа Остермана-Толстого, потерявшего в этом бою левую руку. Здесь наши были атакованы корпусом генерала Вандама, которому император, в случае успешного исхода, уже пообещал маршальский жезл. Исполни Вандам полученный приказ Наполеона, и французы заперли бы в ущелье, а потом наверняка и разгромили бы всю 130-тысячную союзную армию. Дивизионный генерал Доменик-Жозеф-Рене Вандам был умён, жесток, до невозможности упрям, и до заветной цели ему теперь оставалось буквально дотянуться рукой. Но тут судьба, как нарочно, столкнула его с другим невозможным упрямым, только русской закалки, которому никто, правда, никакого жезла не обещал, зато давно желавшим поквитаться с басурманами за все наши прежние обиды. Вандам был остановлен и разбит. И, более того, взят в плен казаками и отправлен в Россию. Для нашего же героя чёрный эмалевый Кульмский крест, окаймлённый серебряным рантом, навсегда остался самой памятной и дорогой боевой наградой.

Многие современники находили Ермолова человеком сильным, властным, но неискренним и, в значительной мере, противоречивым. На знаменитом совете в Филях Ермолов высказался против сдачи Москвы, хотя впоследствии признавался, что уже тогда прекрасно сознавал и необходимость, и неизбежность потери древней столицы, но выглядеть пораженцем в глазах всей армии совсем не хотел. Увы, это горькая правда: подобная двойственность натуры являлась характерной чертой Алексея Петровича. Свист пуль и вой неприятельских ядер были его стихией, однако решительность и прямота, свойственные генералу в открытом бою или споре, нередко изменяли ему, едва смолкали чарующие звуки битвы: тут начинал он хитрить и выгадывать, осторожно рассчитывать шаги, хотя, право, не слишком и преуспел в этом занятии, ибо вокруг всегда оказывалось довольно завистливых ловцов удачи, гораздо более сведущих, чем он, в искусстве подковёрных интриг.

Выставляя себя горячим патриотом и ратуя за продолжение битвы, он, как опытный стратег, прошедший к тому же все предыдущие сражения с французами, не только прекрасно видел всю пагубность для нас такого решения, но и делал всё возможное, чтобы без всякого промедления вывести наши поредевшие войска из-под нового удара, который оказался бы для них смертельным.

Иногда же в его душевном настрое преобладала другая резкая черта. Необыкновенное упрямство, которым Алексей Петрович был щедро

наделён от природы, сколь много способствовало ему в роковые минуты боя, столь же много вредило ему вне поля битвы. Он мог дерзко оспорить мнение великих князей Константина и Николая и даже вызывающе противоречить самому государю. Цenia боевые заслуги Командора, Александр не раз пропускал его колкости мимо ушей и, более того, любил повторять его злые остроты, но, как говорится, всему есть предел, и если суждения Ермолова неосторожно касались деликатных политических обстоятельств, тут государь мог дойти до крайней степени раздражения.

Париж был взят, Наполеон повержен, Александр купался в лучах европейской славы. Пушки, грохотавшие без остановки полтора десятилетия, замолчали, и полем битвы завладели искусные дипломаты, оттеснив в сторону пропахших порохом дымом спасителей отечества.

Александр колебался: Аракчеев советовал ему назначить Ермолова военным министром. Это было бы хорошо, потому, что именно такой человек, как Ермолов, абсолютно честный и бескорыстный и к тому же весьма деятельный, как никогда был необходим России при ее истощённых долгими войнами ресурсах. Это было бы плохо, потому что Ермолов, с его прямоотой и злостью, будучи самым отчаянным противником немецкой партии, сразу же взорвал бы всю систему сложившихся в верхах империи отношений, с её явными и тайными связями, скрытыми пружинами и тонким механизмом взаимовлияний и балансировок.

Устав сомневаться, государь отправил, в конце концов, Командора на Юг – стеречь наши рубежи от персов и турок.

Ермолову достался в удел огромный материк, изрезанный вдоль и поперёк реками и хребтами, населённый тысячью разноязычных, воинственных и вечно враждебных нам племён. При всей его опытности, знании военного ремесла и цепкой практической хватке, при том ещё, что он успел повоевать здесь под знамёнами графа Зубова, и наш азиатский Юг вовсе не был для него тем, что называется *terra incognita*, – Командор едва ли мог представить себе тогда, какая многотрудная задача легла теперь на его плечи.

Было бы преувеличением считать, что в отпущенный ему срок – недолгих семь лет – Алексей Петрович сумел вполне обуздать царивший в крае «неукротимый хаос», как он сам выразился в своих записках. Война с горцами не походила ни на одну из европейских войн. Да, они очень скоро узнали его железную руку: это он душил их удавкой кордонных линий и крепостей, загоняя высоко в бесплодные ущелья. Это он жёг аулы, вытапывал возделанные поля и казнил уличённых в набегах князей – и всё это не имело решительно никакого успеха. «Завоёванной, – изрёк он однажды, – здесь можно считать только ту землю, на которой стоишь. Сойди с неё, и она снова уже не твоя».

Со смертью Александра для Командора началась новая, чёрная полоса. Николай, пугавшийся после декабрьского мятежа каждого куста, счёл

за лучшее отправить его в отставку. Тем более, что на следствии завзятый враль Якубович нагородил с три короба о существовании в рядах Южного корпуса тайного общества и хорошо ему, Якубовичу, известных планах генерала, как тогда говорили, *отложиться* и основать новую династию. Предпринятая негласно проработка темы никаких следов заговора в корпусе не подтвердила, а что касается новой династии, то и эту лапшу следователи с ушей тоже стряхнули быстро. Впрочем, смутный осадок в душе у монарха ещё оставался. А последней каплей тут послужил бойкий ответ фельдъегеря, доставившего в столицу рапорт о присяге южных войск новому государю. На вопрос, охотно ли исполнили свой долг Ермоловские полки, тот выпалил, как из пушки: «Да прикажи Алексей Петрович, присягнули бы и шаху персидскому!»

Ещё тридцать лет Командор провёл вне службы, в долгом «московском сидении»: читал и переплетал книги по военной истории, сочинял свои записки и от пленной турчанки прижил трёх сыновей. Его скромный дом на Пречистенке считался в обществе приютом свободомыслия – об этом многие говорили, да не многие сумели туда попасть. Из прозвищ генерала, принятых в дружеском кругу, назовём ещё и другие, весьма для него характерные: Две Огромные Руки и Старое Знамя. По кончине Алексея Петровича имя его в столицах, согласно секретному указанию сверху, никоим образом увековечено не было. И лишь в моём родном Водогорске, мно-

го лет спустя, был установлен памятник ему – и, говорят, на том самом месте, где когда-то стоял Командор в задумчивой позе, скрестив руки на груди и прозревая уже и основание нового городка, и его необычайную будущность.

Упомянутая мною Шатун-гора считается одною из самых высоких точек в Европе и всего лишь несколько метров уступает в этом отношении восточной вершине Эльбруса. В ясную погоду её белая макушка хорошо видна со всех возвышенных мест Водогорска. В русских летописных источниках встречается также название Шат, производимое, вероятнее всего, от слова «шатёр», что вполне согласуется с правильной куполообразной формой горы.

Русское название Шатун по звучанию, да и по смыслу, очень близко к тому, как гора именуется местными племенами. У горцев она известна как гора Шайтан и с глубокой древности служит для них объектом мистического поклонения. Дело тут в том, что в силу каких-то, не до конца понятных оптических причин, гора часто смещается по линии горизонта то влево, то вправо. Более того, известны и научно зафиксированы случаи, когда её характерный силуэт вообще исчезал из видимости на несколько дней. Иногда же контуры горы раздувались до необыкновенной толщины и даже раздваивались, так что некоторые приезжие ошибочно принимали её за Эльбрус.

В этих загадочных метаморфозах горские старики видели предзнаменования предстоящих

важных событий и даже, пользуясь ими особым образом, вели своё летоисчисление, чем однажды заинтересовали знаменитого историка и лингвиста Юлиуса Клапрота.

Надобно сказать, что в просторных долинах вокруг Шатун-горы, закрытых хребтами от северного ветра и хорошо прогреваемых солнцем, с незапамятных времен обитали два татарских племени, подвластные упомянутому уже княжескому семейству Гиреев; слева от горы – каракулаки («черные уши»), а справа – карагулаки («черные пятки»).

При всём том, что это были две родственные ветви, происходившие от одного общего корня и говорившие на двух наречиях, столь близких друг другу, что едва заметные или, лучше сказать, едва слышимые отличия смогло уловить в них только свержчуткое ухо академика Клапрота, – при всём том эти народы резко различались характером, обычаями и самим укладом их жизни.

Если каракулаки славились умением вести хозяйство и владели многими ремёслами, в особенности, изготовлением прекрасно закаленных клинков и искусной отделкой оружия и посуды, то карагулаки, напротив, слыли, и далеко за пределами края, как самые отчаянные абреки, то есть лихие разбойники. Это о них старая пословица говорит, что они пулями сеют, а шашками жнут. Под покровом ночи их шайки беспрепятственно проникали за наши кордонные линии и угоняли табуны из казачьих станиц. Излюбленным их промыслом была также добыча русских пленных,

главным образом, офицеров, за которых всегда назначался изрядный выкуп.

Несчастливого пленника сажали в яму, кормили сырым тестом и плетью возбуждали его красно-речие в письмах к родным – с мольбою о сборе необходимых для освобождения средств.

Вызволить жертву было совсем не просто. Благо, посредниками в переговорах обычно служили старейшины мирных караулаков, на их слово можно было вполне положиться. К тому же они охотно продавали русским мёд, вяленую баранину, вкуснейший копчёный сыр, отлично выделанный каракуль и прочие плоды собственного труда, а старшим офицерам ещё и персонально изготовленные для них кинжалы и шашки, богато украшенные серебряной насечкой. И терять эти выгодные торговые связи из-за непутёвой родни явно не желали. Тем более что непрременным обязательством с нашей стороны являлась ещё и поставка поваренной соли, в которой горцы сильно нуждались.

В бытность в нашем крае Алексея Петровича в его ставку были призваны лучшие караулацкие мастера, дабы отреставрировать любимую турецкую саблю генерала, захваченную лично им у вражеского бунчук-паши в известном сражении на реке Арпачай. На широком изогнутом клинке по его просьбе тогда же была исполнена памятная гравировка с изречением, которое он часто повторял себе и другим: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай». Впоследствии я видел это драгоценное оружие, помнившее железную

руку Командора, выставленным под его портретом в Историческом музее в Москве.

В противовес всему этому злобный нрав, коварство и дерзость караулаков не знали никаких пределов. Однажды они вызвались поднять со дна Уллу-Дарьи наше артиллерийское орудие, неосторожно утопленное куринцами при переправе через кипучий горный поток. Долго хлопотали, выкрикивая что-то на своем гортанном языке, ныряли в ледяную воду, чтобы обвязать орудие канатом, и, наконец, когда его тяжёлое медное тулово оказалось на берегу и наши нетерпеливо сунулись вперед, – то все поголовно тут же были изрублены в единый миг, а извлеченный из стремнины единорог остался у караулаков навечно в плену.

Алексей Петрович недолго пребывал в долгу. Как-то в сумерках подле Каменномостского поста наша пионерная команда начала вдруг странную возню. Сначала выровняли площадку, потом из брусьев сколотили каркас и стали обшивать его досками. Стучали топоры, визжали пилы, и выросшая на глазах небывалая штука-вина, не меньше трёх саженей вышины, приняла вид огромного коня. Когда совсем стемнело и топоры замолчали, генерал, известный любитель античности, приказал скрытно закатить во чрево несколько легких орудий, зарядив их рублевым железом, медными пуговицами и пятаками. Поднявшись к небесам, утренний туман обнажил вокруг деревянного Буцефала целую толпу любопытствующих туземцев. Тут же с грохотом отверз-

лись орудийные люки, и грянул залп, разорвав на куски до полусотни наивных карагулакских храбрецов. Приказом по корпусу Алексей Петрович запретил впредь вступать с ними в переговоры и велел открывать огонь на поражение при первом же их появлении в виду наших передовых постов.

Соответственно и потомки славного Султан-Гирея, владельцы здешних народов, разделились на два враждующих клана. Одни присягали белому царю и получали чины и награды в русской службе, другие принимали у себя в Кара-Гулаке турецких эмиссаров, говоривших с английским акцентом, и рассчитывали в скором времени поднять против нас весь Южный край и сбросить ненавистное им владычество Ермул-паши, каковым прозвищем они обычно именовали нашего генерала.

Что касается лингвистических исследований академика Клапрота, то в отличие от многих учёных собратьев, посещавших в тот век полуденные земли, он отнюдь не ограничился собиранием небылиц, а провёл тщательный сравнительный анализ лексического строя местных наречий и установил, что в словах у карагулаков гораздо больше смысловых оттенков и даже значений, связанных с военными делами. Особенно показательным примером он считал слово «заарканиль». Если каракулаки употребляли его только по отношению к коню, то карагулаки – исключительно по отношению к всаднику.

Заметим, что испытать действие этого глагола на себе самом господин академик никакой

возможности не имел, так как в путешествиях его сопровождал сводный кавалерийский отряд под предводительством князя Ахмат-Гирея, к тому времени уже подполковника, специально для этой цели командированного на юг. В столице он исправлял должность начальника горского полукэскадрона в конвое его величества и пользовался особым благоволением самого государя.

В светлой голове Клапрота уже начинала складываться передовая теория об отражении материальной культуры и образа жизни народов в их языках. Единственное, что смущало академика, – отсутствие какой бы то ни было возможности объяснить происхождение странных и даже загадочных самоназваний этих народов, ибо никаких реальных данных к тому не находилось, и, несмотря на все старания, ни чёрных ушей у каракулаков, ни чёрных пяток у их воинственных сородичей он обнаружить не смог. И уши и пятки, будучи чисто вымытыми, имели обычный телесный цвет, а на вопросы Клапрота их владельцы только пожимали плечами и отвечали в том духе, что подобные названия их народы носили всегда, от самого своего происхождения на земле.

В глубокой задумчивости учёный немец покинул наш край, рассчитывая уже в Петербурге довести до конца свои занятия, пользуясь путевыми записками и дневниками. Однако в Академии он рассорился с начальством из-за какой-то ли утаённой, то ли недоплаченной ему суммы и навсегда уехал за границу, где получил кафедру (кажется, в Париже). Правда, впоследствии,

в комментариях к книге знаменитого Яна Потоцкого «Путешествие в степях Астрахани и Южного края», Клапрот всё же привёл описание Шайтан-горы и упомянул о племенах, обитавших в её окрестностях. В данном случае его интересовали восточные интерпретации мифа о Прометее. У караулаков же, а равно у их сородичей, испокон веков бытовало предание о соперничестве двух братьев: благородного и отважного – с коварным и злым. Победитель (кто именно – сведения расходятся) не поражает противника насмерть, а приковывает к скале, обрекая на вечные муки.

Из всех случаев пленения самым громким оказался захват горцами самого Морица фон Эберлинга, тогда ещё совсем молоденького поручика. Переодевшись в горское платье, с верными проводниками он отправился на разведку в одно глухое ущелье, имевшее весьма характерное название Барса Кельмес (Пойдешь – не вернешься). Но ни мохнатая папаха, надвинутая на самые брови, ни черкеска с серебряными газырями, ни даже знание некоторых ходовых оборотов местного наречия ему ничуть не помогли, а верные проводники, попав в засаду, тут же выдали его с головой при первых выстрелах громких карагулакских ружей.

Он томился в плену несколько месяцев, дважды пытался бежать, но был схвачен, закован в железо и посажен на цепь. Наши вели переговоры, намереваясь снизить цену выкупа, назначенного князем Мегмет-Гиреем, – целую повоз-

ку серебряной монеты. Дело дошло до государя, и тот велел выделить нужную сумму из казны. Тогда Мегмет (кстати, двоюродный брат подполковника Ахмат-Гирея), раздувшись от жадности, оценил своего пленника буквально на вес золота.

Жизнь Эберлинга повисла на волоске, а спасла его дочь князя – черноокая Гюльма, снабдившая офицера железной пилой, кинжалом и парой просяных лепёшек на дорогу. Едва живого, его подобрала линейные казаки на правом берегу Уллу-Дарьи. Он лечился за границей и вскоре вернулся в Южный корпус, где принял почётную должность адъютанта генерала Ермолова. Навсегда осталось тайной, какие чувства испытывали молодые люди друг к другу, и не любовь ли юной княжны явилась причиной чудесного освобождения героя. Однако доподлинно известно, что наш Главный Поэт, пребывавший тогда на водах, услышал эту историю из уст самого Эберлинга и использовал её потом как сюжет для своей знаменитой поэмы.

Судьба ещё не раз испытывала на прочность Морица Эберлинга. В сражении при Ахульго в Дагестане – не соврать, ещё в чине штабс-капитана – он получил две пули и целый день пролежал под палящими лучами, медленно истекая кровью. Он бредил, в голове проносились смутные картины, часто ему грезилось лицо любимой девушки. Помощь пришла буквально в последнюю минуту. Военный лекарь, перевязывая глубокую рану в боку, только покачал головой и выразился в том смысле, что этот несчастный давно должен был

отдать богу душу, да видно всевышний уберёт его для какой-то неведомой пока цели.

За Ахульго Мориц получил своего первого «Геоorgia» и был произведён сразу в полковники. Через год в штабе Южного корпуса он встретил Лермонтова, сосланного тогда за очередную проказу в Чечню, и поведал ему свою историю. Если не ошибаюсь, именно этот рассказ Эберлинга дал повод поэту написать его всем известное стихотворение «Сон».

Своим чередом храбрый Мориц дослужился и до генеральских погон. Препятствовать тому могло одно лишь единственное, но весьма важное обстоятельство: всем хорошо была известна его непоколебимая преданность Алексею Петровичу, давно пребывавшему в бесславной отставке. Государь недолго любил Старого Ворчуна и всех его друзей-приятелей, но тут отдал полную дань справедливости и, подписывая генеральский патент, произнёс дорогие слова, что все русские награды Эберлинга щедро оплачены его немецкой кровью. Это правда. И кто знает, каких бы ещё высот и отличий достиг Мориц фон Эберлинг в своей героической карьере, если бы навек не сгинул безвестно вместе со всей своей злополучной экспедицией.

Судьба казачьего сотника Кривошапкина сложилась, увы, совсем иначе. Из водогорского гарнизона он был вызван Ермоловым в отряд, сформированный для большого похода в Застолбье. Выставив на ближнем кургане ночной пикет, сотник преспокойно отправился в свою палатку.

Караульные же казаки, утомлённые дневным переходом, не долго несли дозор и вскоре заснули мёртвым сном: под утро их всех вырезали рыскавшие по степи карагулаки.

Тут в лагерь нагрянул Алексей Петрович. Оставшихся в живых казаков наказал плетьюми, а потом, выслав всех из кибитки, велел позвать к нему Кривошапкина.

– Тебя плетьюми бить нельзя, – сказал он ему, – потому что ты офицер, так вот же тебе! – Ермолов схватил его за чупрун одной рукой, а другой избил по чем ни попало, сбил с ног, потоптал и, выкинув вон, кликнул адъютанта, которому приказал яму вырыть, дабы оплошного сотника живого в оную закопать. Офицеры упростили Алексея Петровича этого не делать, хотя уже и яму рыли. По представлению генерала сотник был навсегда за то из службы выключен, а курган, где случилась беда, носит с той поры название Сонного.

За время командования водогорским гарнизоном Эберлинг многое успел сделать, чтобы обжить новое место. Впоследствии в помощь ему был назначен и первый штатский градоначальник, коллежский асессор по фамилии Беклемишев, но это, как говорится, бесплатное приложение, так как все важные дела капитан решал сам и постороннего вмешательства в них не терпел. Прежде всего, силами своих батальонов пробил просеку на Большой Южный тракт. Двадцать верст, немало, и, если кто не знает, просеки рубились тогда шириною в два ружейных выстрела.

ла, – чтобы исключить при движении войсковых колонн обстрелы и внезапные нападения горцев с флангов. Дорога, проложенная Эберлингом, существует и по сей день, теперь здесь лежит прямая, как стрела, автомобильная трасса, обсаженная с обеих сторон аккуратными рядами акаций.

Потом расчистил местность вокруг, а на возвышенности, как и велел Ермолов, поставил крепостцу, от нее протянул первую улицу – к источнику, где в скалах бил известный уже нам Редедин ключ.

Улица – не улица, но отстроились первые частные владельцы: доктор Мейер, хозяин лавки Челахьянц, тот же Беклемишев, полицмейстер Поливанов, а с ними и всякий чиновный люд, башмачкины-писаришки. У реки – солдатская слободка Кабардинка, за речкой – станица, перевели сюда с Кубани сотню казачьих семей, там же базарная площадь. Появились и первые посетители вод: барыня из Пензы с рахитом-внуком в бархатной куртке, отставной генерал с незаживающей раной, полученной ещё при Голыmine, колченогий откупщик из Рязани, да мало ли кто ещё не мечтал поправить здоровье в дымных струях, нескончаемо бьющих из самых земных недр.

Источники, а их было обнаружено ещё несколько, и вправду обладали чудесной силой. Золотушный кудрявый мальчик с черными глазами поправился и окреп. Рана старого генерала затянулась, а откупщик, покидая воды, оставил здесь не только свои костыли, но и добавил к ним несколько тысяч рублей, имея в виду устройство

домика с ванной, а для ожидающих своей очереди пациентов ещё и крытой прогулочной галереи.

Для соблюдения всех предписанных свыше медицинских правил и пущей действенности пользования водами к нам был направлен доктор Адам Адамович Мейер, прежде постигший искусство врачевания на европейских бальнеологических курортах. Более того, сам Командор, выехав в столицу для доклада государю о положении дел на наших южных границах, посетил в Москве знаменитого доктора Гааса и условился с ним, что на обратном пути захватит его с собой – в целях научного исследования и описания вновь открытых ключей.

Впоследствии, согласно отчёту Гааса, представленному в Императорскую академию наук, оказалось, что наши воды, сами собой льющиеся из неведомой толщи, превосходят своими лечебными свойствами все иные подобные, донныне открытые на Кавказе и в других местах. К чести доктора надо сказать, что он собственноручно измерял скорость и силу струй, установил их *дебет*, то есть объём воды, проистекающей в единицу времени, опускал в поток градусник, а потом ещё, пользуясь своей походной лабораторией, выпаривал и взвешивал сухой остаток. Обнаружив где-то в склоне бездонную трещину, бросал в неё камни, засекая при этом время полёта, дабы по долетевшему наверх звуку удара судить о глубине сего природного провала.

Вся окрестность вдоль и поперёк была исхожена им многократно. Он стал первым, кто

решительно заявил, что все наши ключи берут начало в самой преисподней, иначе говоря – в огнедышащих глубинах Шайтан-горы, этого притаившегося до времени вулкана, и отважно (в сопровождении Эберлинга и надежного конвоя) двинулся, было, к её подножию. Я думаю, он намеревался даже подняться на самый её верх и заглянуть в потухшее жерло или, во всяком случае, удостовериться, что его догадка справедлива и кратер, пусть и укрытый вечными снегами, всё-таки существует. Дойдя, однако, до первой же скалистой гряды, известной у нас под названием Каменных Грибов, отряд был остановлен невесть откуда взявшейся непогодой: ледяная крупа била в лицо, клочья тумана неслись сразу во все стороны, а ветер в расщелинах нескончаемо выл, как целая стая голодных волков. Тут вдруг стрелка компаса предательски заметалась, а Шайтан, до того ещё различимый в разрывах зловещих туч, совершенно пропал из вида, и капитан Эберлинг, сознавая свою ответственность за жизнь и здоровье научного светила и опасаясь, как бы Каменные Грибы не превратились в Каменные Гробы, вынужден был повернуть вспять.

Впоследствии на месте этой невольной заминки Мориц распорядился оставить особый знак, и на ровной поверхности скалы были вырезаны крест и под ним надпись, удостоверяющая, что такого-то числа и года, при таких-то обстоятельствах здесь находились такие-то лица. Несколько позже к скалам, откуда открывалась

впечатляющая панорама, проложили из города пешеходную тропу, и многие ещё каменные изваяния вокруг, действительно имевшие очертания то огромных грибов, то сказочных животных, украсились именами тех, кто имел тщеславное желание оставить свой след в истории.

Гаас дал названия нашим ключам, а, вернее, освятил своим авторитетом те, которые сложились к тому времени в городском обиходе: *Холодный*, *Тёплый*, *Каменный* и *Редедин*. Последний, если верить тому, что поведал когда-то ротмистр Ахмат-Гирей, получил свое название по имени касожского богатыря, погружавшегося в источник с головой. Так вот, это древнее предание – вовсе не легенда и не миф. Мне удалось разыскать вполне достоверные сведения и о воинственном племени касогов, и об их отважном предводителе, носившем имя Редеди. Касоги, как ведают историки, это далёкие предки современных кабардинцев. Они имели прекрасное вооружение и особенно славились меткой стрельбой из лука, неизменно попадая в цель даже на всём скаку. Соседние племена платили им дань и опасались затевать с ними распри.

Великан Редедя отличался необыкновенной силой и воинской удачей. В борьбе и владении мечом никогда не знал себе равных. Теперь уже трудно судить, что же подвело его в роковом поединке с князем Мстиславом. То ли русская сила пересилила касожскую, то ли забыл Редедя окунуться в свою каменную ванну, но он пал, сраженный насмерть ударом нашего витязя.

Холодный сам собою вспучивался и пенился в стакане, и Адам Адамович любил назначать его пациентам чуть ли не по двадцать порций для употребления внутрь, а в видах лечебного эффекта ещё велел и прохаживаться по галерее быстрыми шагами. Тёплый, иначе – серный горячий, употреблялся для приёма ванн, и наш Главный Поэт имел удовольствие испробовать их действие на себе. Остался очень доволен и в письме к другу сообщил, что чуть ли не сварился в ванне вкрутую.

Каменный вполне оправдывает свое название вовсе не тем, что появляется на свет и течёт среди груды камней. Тут дело в том, что любой предмет, будучи погружён в его струи, вскоре покрывается тонкой твёрдой корочкой. Это химическое явление породило у нас целую отрасль народного творчества или, можно сказать, народного производства. В воду стали опускать стаканчики, хвойные ветки и даже живых лягушек, – с тем, чтобы продать эти свежеиспечённые окаменелости доверчивым посетителям водогорского курорта.

Наибольшей любовью горожан всегда пользовался Редедин ключ. В него окунались с головой, его водой умывались, промывали закисшие глаза, полоскали больное горло и – всё с тем же неизменным успехом – принимали внутрь, правда, уже не по двадцать стаканов, как прописывал когда-то доктор Мейер, а в более разумной дозировке.

Кстати сказать, про Редедю, которого никто из горожан никогда не видел и редко кто слышал, вскоре совсем забыли. Источник в народе окре-

стили Святым, а с установлением Советской власти велено было именовать его впредь по имени нашего Главного Поэта, в память, вероятно, о том, что тот, находясь проездом у нас на водах, принял на грудь пару-тройку стаканов шипучей волшебной влаги. Ходил, добавим, слух и о том, что источник прибавляет и даже возвращает страдальцам утраченную мужскую силу, о чём есть туманное упоминание не то в черновых вариантах «Горя от ума», где говорится о поездке Чацкого на Юг, не то – не соврать бы! – в «Отрывках из путешествия Онегина». Воспользовался ли автор этим слухом или же испытал подъёмное действие ключа на самом себе – неведомо, а вот предание о Редее ему было хорошо известно, о чём мы ещё потолкуем в нужном месте.

Однажды в Петербурге Командор проведаль случаем, что из Италии прибыли к нам в империю два брата – Джузеппе и Джованни Бертолацци; младший из них – архитектор, а старший – каменных дел мастер. Вызваны они были в строительный департамент одного важного министерства – с тем, чтобы определить их вроде бы в сотрудники к самому г-ну Огюсту Монферрану. Когда братья очутились на невских берегах, тут же оказалось, что в деле, заведённом на них в этом самом министерстве, не хватает вдруг одной бумажки. А она-то самая нужная, собственной его величества канцелярии. Стали искать, стали писать, запрашивать, а братьям велели ждать и никуда не отлучаться. Те уж поистратились поряд-

ком и пребывали в самом плачевном состоянии. В голоде, в холоде, ютились где-то под лестницей на постоялом дворе, и настроение – как свинцовое питерское небо над головой. Проклинали уж братья и департамент, и г-на Монферрана, и страшно даже подумать, кого ещё, – тут, знаете, и до Сибири, может статья, гораздо ближе будет, чем до родного Памбио.

С Командором спорить нельзя. Он возник перед братьями, словно сама судьба. За шкирку вытащил из-под лестницы и велел в пять минут быть готовыми в дальний путь. Младший, Джованни, стал, было, вякать, что он есть свободный человек и не позволит обращаться с собой подобным бесцеремонным образом.

– Ну, и дурак же ты, братец, – преспокойно отвечал Алексей Петрович на языке Петрарки и Данте, не снимая, впрочем, своей тяжелой руки с плеча Джованни. – У меня на юге тепло. У меня небо синее, и горы повыше, чем твои Альпы. А папиры ваши я и сам как-нибудь исправлю...

Джованни застыл, выпучив глаза. В молодые годы Командор путешествовал по Италии и язык знал превосходно. Потом добавил адъютанту, уже по-русски:

– Эй, Талызин. Глаз с них не спускать. Доставить ко мне в штаб Южного корпуса. Там разберём, что к чему.

Так было или не так было, сказать теперь трудно, да только стали наши братья первыми строителями Водогорска. С Эберлингом поладили. Правда, звал он их на свой немецкий манер:

Джованни – Иоганном, а старшего Джузеппе – Иосифом.

С появлением братьев дела в городке пошли веселее, благо камня и леса вокруг предостаточно, да и рабочей силы чуть не в избытке: пленные поляки и наши ссыльные. Первым делом позаботились о казенных постройках: дом коменданта, госпиталь, гауптвахта. Потом гостиница с рестораном, – её взял в аренду грек Янаки; водная лечебница – фарфоровые ванны выписали из Мейсена; потом и церковь во имя Пресвятой Богородицы, и, наконец, скорбная обитель – кладбище, каменная книга, к некоторым страницам которой нам ещё предстоит обратиться.

Алексей Петрович городок наш не забывал и частенько наведывался сюда по разным делам. В память о сём доблестном основателе, при постройке большого каменного здания для ванн, под его правый передний угол была положена медная таблица с выгравированным на ней именем Командора.

Судьба испытывала Эберлинга, а неутомный Эберлинг испытывал судьбу.

Последнее, о чём я должен предупредить читателя, прежде чем перейти к описанию основных событий водогорской хроники, это восхождение нашего Морица на вершину Шатун-горы. Ещё генерал Ермолов, покидая месторасположение будущего Водогорска, указал ему рукою на Шайтан-гору и высказал твёрдое убеждение, что покорение этого великана будет иметь большое моральное влияние на горцев.

Атака с ходу не удалась. Ага! Невысокий и худощавый, уже получивший к тому времени несколько пулевых и сабельных ранений, но деятельный и необыкновенно упрямый Эберлинг решил не сдаваться и предпринял новые наступательные шаги.

Во-первых, на Каменные Грибы был послан хорунжий Краснощёков с командой – разведать или проложить тропу к следующей, еще более высокой гряде. Эти скалы или, как прозвали их горцы, Зубы Старухи, представляли собой то острые пики, то полуразрушенные причудливые замки, изъеденные со всех сторон злыми ветрами и так плотно примыкавшие один к другому, что, сколько ни всматривался в них Мориц через свою телескопическую трубу, так и не смог различить между ними ни единой щелочки. А ежели удастся, то велено было хорунжему подойти и к самым склонам Шайтана и выбрать там ровное открытое место для будущего бивака. Открытое – дабы хорошо просматривалась вся окрестность, во избежание внезапного нападения карагулаков. А то, что эти черти воспротивятся движению русского отряда к заповедной горе, так это и к бабушке не ходи. О какой, собственно, бабушке речь – Мориц ответить бы не смог. Тут он просто повторял выражение, почерпнутое им из казачьего лексикона.

Во-вторых, при посредстве Командора из Петербурга были вытребованы целых три академика, имевшие опыт альпийских путешествий, – Шульц, Штольц и Шварц, которые могли бы

исследовать и описать Шатун-гору в географическом, геологическом и всех других отношениях. С последним, Шварцем, прибыл – это особенно обрадовало Эберлинга – военный топограф поручик Степан Чичагов, захвативший с собой полный набор измерительных инструментов, необходимых для снятия планов. Главный интерес в этом наборе вызывала тщательно упакованная камера-обскура, прообраз современного фотоаппарата или, проще говоря, обыкновенный деревянный ящик с отверстием в передней стенке для входа световых лучей и стеклянным матовым экраном вместо задней, где эти самые лучи отражались в перевернутом, согласно законам оптики, виде. Накрывшись куском чёрной материи и приложив к стеклу папиросную бумагу, можно было тут же нанести на неё абсолютно точные контуры близлежащего ландшафта. А то, что мир божий смотрелся здесь поставленным с ног на голову, привычному глазу нисколько не мешало.

Кстати сказать, Джованни, он же Иоганн, осмотрев внимательно эту штуковину, покачал головой и иронически заметил, что он, видит бог, не хочет сказать ничего обидного, но в развитых европейских странах сей аппарат давно довели до совершенства и что он, Джованни, имеет кое-что подсказать молодому офицеру и, коли тот соблаговолит прислушаться, то сумеет без больших усилий внести в устройство своей камеры некоторые рациональные элементы. Полдня Степан, руководимый итальянцем, провозился в мастер-

ской. Рациональными элементами оказались линза, установленная на входном отверстии, и зеркало, помещённое внутри камеры под углом в сорок пять градусов, что делало полученное изображение уже не перевернутым и гораздо более отчётливым.

В-третьих, пока суть да дело, да приехали академики, да Степан демонстрировал местной публике действие своей обскуры, пока собирали людей и снаряжение, – тут как раз вернулся из разведки хорунжий Краснощёков. За две недели отсутствия он похудел и осунулся, обветренное лицо его почернело от загара, но глаза смотрели весело. Эберлинг заперся с ним в кабинете и вот что услышал от своего гонца.

От Каменных Грибов отряд спустился по склону в долину Гитче-Дарьи (Малой Дарьи) и пошел вверх по течению, огибая неприступные Зубы Старухи стороной. Проводник Даут Даутоков, загодя взятый у караулаков, вывел их на боковой кряж Бурун-Таш (Каменный Мыс), преодолев который, казаки попали в глубокое и тёмное ущелье Аманауз – Злая (или Чёртова) Пасть.

Высоко на скалах во множестве видны были горные козлы – туры, а дальше, когда в верховьях открылась широкая поляна, то на опушках щипали травку лесные быки – зубры. Имя этому урочищу Сары-Тюз (Жёлтая, понимай – Солнечная, долина). Здесь стали лагерем, претерпевая по ночам злую стужу, а днём жгучее солнце. Засыпали под крики шакала. В двух часах ходу отсюда лежат подтаявшие снежные языки Шатун-го-

ры. Подъём на них надо начинать ещё впотьмах, пока твёрдый наст не превратился в кашу. Продвинуться вверх удалось, однако, не более чем на полверсты: люди страдали одышкой и судорожным биением сердца. Хуже того, стали слепнуть от нестерпимо яркого света: сверху солнце, а под ногами сверкающее ледяное крошево. Ожоги на лице приспособились, по совету Даута, врачевать айраном, а вокруг глаз лепили ещё чёрный порошок: не сказать, что сильно, но помогает от слепящих лучей. На возвратном пути, при подъёме на Бурун-Таш, казаки были обстреляны из-за камней, уряднику Матвею Попко жаканом сбило кубанку с головы. Других потерь в отряде не имеется.

Молча всё выслушав, Эберлинг заверил Краснощёкова, что важной услуги его никогда не забудет и тут же, достав из кармана свой портмоне, выделил из собственных средств каждому казаку по рублю серебром. Ещё распорядился выдать Матвею новую кубанку, а для Даута Даутокова из комендантских запасов лучшего английского сукна на черкеску. Велел опять же проводника из гарнизона никуда пока не отпускать и иметь над ним строгий надзор, дабы оный ни с кем из родни сношений не имел.

Разумная предосторожность, взятая Морицем в отношении караулаковского проводника (да мало ли что? – никому из этих узкоглазых верить нельзя), оказалась в данном случае совершенно излишней. Даут и в дальнейшем проявил себя как человек отважный, прямой и не способный

ни на какие каверзы. Он не только вывел большой отряд Эберлинга к подножию Шатун-горы, но участвовал в покорении этой исполинской снежной пирамиды и первым достиг её вершины.

Имея горы родной стихией, Даут легко одолевал крутые подъёмы, несмотря даже на разреженный воздух. Теперь он поднимался мерным шагом по склону, всё более удаляясь от основной группы, пока не превратился в чёрную точку и, наконец, совсем не пропал за верхней кромкой вечных снегов, выше которой синело только бесконечное небо. Впоследствии Мориц признавался, что в это мгновенье у него тревожно сжалось сердце: что там, на самом верху? Престол Всевышнего? Бездонная пропасть? И увидят ли они вновь исчезнувшего с глаз Даута?

Все остальные восходители безнадежно отстали, растянулись цепочкой, а потом остановились, пытаясь отдышаться, но решимости к дальнейшему движению в себе так и не нашли и постепенно заскользили вниз, а одного из них, потерявшего все силы академика Шварца, казакам пришлось, закутав в бурку, тащить на себе в лагерь.

С Даутом же ничего страшного не произошло. В сумерках он вернулся в расположение отряда живой и невредимый, и то, что он поведал Эберлингу и академикам, привело их в крайнее изумление. Чувствую, однако, что я забежал далеко вперед и мне необходимо начать всё с самого начала.

Большой отряд, назначенный в поход на Шатун, состоял из двух рот Куринского пехотного

полка с парой орудий легкоконной артиллерии, да сотни гребенцов, да обоза, не менее чем из тридцати верблюдов с разнообразной поклажей, да собственно учёных участников, то есть академиков с прислугой и Степана с обскурой, – и всё это во главе с самим Эберлингом и его верным адъютантом подпоручиком Горчаковым. Гарнизонная молодежь вознамерилась было заказать прощальный вечер перед выходом в путь, но Мориц решительно дал понять, что праздновать пока нечего, и обещал дать настоящий бал в ресторации – в случае, разумеется, успешного возвращения из похода.

Городок бурлил в предчувствии чего-то совершенно необычного. Между всякими толками и слухами тут был один разговор, имевший, хотя и отдалённые, но важные последствия. Младший из братьев Бертолацци, узнав о предстоящем движении отряда на Шатун, выразил непереносимое желание в нём участвовать. Он долго рассматривал горы в телескопическую трубу и сделал неожиданное заявление, что вовсе нет необходимости совершать долгий и трудный подъём по склону. Есть другой, более быстрый, хотя, может быть, не совсем безопасный способ оказаться на вершине Шайтана – подняться туда на воздушном шаре.

– На воздушном шаре? – тут аккуратный Мориц забыл стряхнуть пепел с сигары, что говорило о его чрезвычайной заинтересованности. – Was ist das los? Поясните вашу мысль, Иоганн!

И Джованни, он же Иоганн, начал горячо рассказывать, как они с братом видели в Париже это

удивительное творение человеческого ума. Правда, французы уверены, что первыми додумались поднять в небо шар, наполненный горячим дымом, братья Монгольфье, Жозеф и Этьен. На самом деле это не так. Пользуясь идеями великого Леонардо, воздушный шар изобрел один итальянский монах-иезуит, Бартоломео Гоцци. Они же, братья Бертолацци, тогда в Париже внимательно наблюдали за испытанием и даже сделали несколько рисунков с натуры, так что им теперь не составит большого труда не только воссоздать этот удивительный аппарат, но и внести в его устройство некоторые усовершенствования, что позволит в известной степени даже управлять полётом, а не отдаваться на волю ветра и providения.

При слове «ветер» Эберлинг покачал головой. Ему сразу припомнилась ужасная буря, разразившаяся на Каменных Грибах; там и сам воздушный шар, и его опрометчивые пассажиры легко сделались бы добычей свирепой стихии. Первый восторг прошёл. Тем не менее, Мориц долго рассматривал чудесные рисунки Джованни, ещё о чем-то спрашивал, хмыкал и всё так же качал головой. Под конец разговора заметил, что наверху, среди вечных льдов, полёт едва ли возможен: там дым быстро остынет, и шар просто упадёт на скалы. Впрочем, дал указание Джованни подготовить все необходимые чертежи и расчёты и твёрдо обещал ему довести этот проект до практического результата. Что касается похода на Шатун, то братья Бертолацци тогда же были

включены в состав отряда, и, помнится, младший из них, Джованни, имея интерес к действию усовершенствованной камеры-обскуры, сопровождал повсюду топографа Чичагова и даже совершил вместе с ним переход в одно из соседних ущелий.

В строительных мастерских под наблюдением братьев была заблаговременно отлита из свинца таблица с надлежащей рельефной надписью, сообщавшей потомству о некоем достопамятном событии, произошедшем в городе Водогорске и его окрестностях в такое-то лето от Рождества Христова и увенчанном покорением великой Шатун-горы. Но поскольку само событие ещё не произошло, и никто с уверенностью не мог пока сказать, произойдёт ли оно вообще, то и первоначальное содержание надписи было составлено несколько неопределенно и исключительно в предположительном смысле. Когда же подготовленный текст подали на утверждение Эберлингу, то он отверг все сомнения и собственноручно внёс необходимые исправления, говорившие о покорении как о свершившемся факте. Всё. Теперь ему оставалось либо забраться на самую макушку, либо умереть.

Тем не менее содержание надписи решили держать в секрете, а потому и ни единой копии с неё снято не было. Когда же табличку доставили, наконец, в то место, для которого она предназначалась, то те немногие, кому посчастливилось добраться до вершины, опьянённые высотой и победой, совершенно упустили это из виду, и

мне впоследствии пришлось приложить немало усилий, чтобы раздобыть текст исторической надписи, и если бы не подсказка знающего человека, то, кто знает, те самые потомки, которым, собственно, и было адресовано послание Морица Эберлинга, оставались бы в полном неведении по данному вопросу и по сей день.

Установить свинцовую пластину предполагалось где-нибудь на скалах и как можно выше, а может быть, и на самой вершине, ежели там окажется подходящий для того утёс или просто груда камней. Тут, впрочем, обнаружилась другая возможность, уготованная для подобного деяния самой судьбой.

Даут, вернёмся к нашему герою, сносно говорил по-русски, в тех же случаях, когда испытывал затруднения, он обращал свой взор на Краснощёкова: тот владел местным наречием, как родным, и, случалось, сам Командор в походах держал его при себе в качестве личного толмача.

Нелишне отметить, что в течение всего путешествия Даут ни единого раза не произнёс слова Шайтан, предпочитая выражаться по поводу горы в третьем лице. Вот и теперь, вернувшись в лагерь, отважный каракулак поведал, что *его* вершина представляет собой большое снежное поле, усыпанное камнями. В подтверждение своих слов он извлёк из хурджина довольно увесистый осколок, чёрный, в белую крапинку, – в нём наши академики, пошептавшись между собой, признали разновидность базальта. В середине поля возвышается холм, то есть самая макушка, *тубе*, –

несколько раз повторил Даут, – на которой свободно могло бы уместиться десять человек. Он не сомневается, что здесь до него побывал кто-то ещё, и готов в этом поклясться Гаджи-Бекем, так как на самой вершине он обнаружил несколько длинных досок, потемневших от времени, но ещё очень прочных и хранящих следы былой обработки. Осмотревшись вокруг, он отметил и другие деревянные обломки разной величины, то здесь, то там валявшиеся по сторонам на снегу.

Сообщенные Даутом сведения казались столь невероятными, что весь синклит, собравшийся в командирской палатке, надолго потерял дар речи. Расценив возникшее замешательство как недоверие к своим словам и поняв, что самая страшная клятва, которую только мог принести каракулак, не произвела никакого действия, горец достал из волшебного хурджина небольшой кусок деревяшки, с аккуратно просверленным в центре отверстием, и протянул его Эберлингу.

Молчание сделалось ещё более напряжённым.

– Mein Gott, – выдохнул, наконец, один из академиков: кажется, это был Шульц. – Ich weiß nicht, was soll es bedeuten... Das ist unmöglich...²

Помолчав вместе со всеми, Даут добавил, что, оторвавшись на склоне ото всех остальных, он вскоре и сам, на каком-то промежутке пути, стал испытывать серьёзные трудности, однако, замедлив шаги и успокоив дыхание, сумел всё же преодолеть нахлынувшую слабость и дальше

² Бог мой! Не возьму в толк, что это такое. Этого быть не может! (нем.).

поднимался уже довольно уверенно. Если хватит терпения, повторял он убеждённо, то, пусть не каждый, но хотя бы некоторые из собравшихся здесь смогут, как и он сам, достичь вершины и удостовериться в справедливости его слов.

Наутро, ещё затемно, отправились в путь: Эберлинг с адъютантом, академики, пятеро казаков во главе с Краснощёковым и неизменный Даут. Шварц со Степаном остались внизу: немец совсем занемог, то стонал, то бредил и на разных языках пытался дознаться у окружающих, водятся ли на Шайтане мыши, он их ужасно боится. Владелец же обскуры, с которой на макушке делать было абсолютно нечего, вознамерился обойти гору вокруг и поснимать планы.

Второй штурм оказался удачнее первого: на самый верх, то есть на *тюбе*, взобрались Мориц с Горчаковым, Краснощёков с Матвеем Попко в новой кубанке и, конечно, Даут. Шульц уже при первых шагах по склону почувствовал слабость и тошноту и вынужден был ретироваться в лагерь. Барон Штольц поднялся довольно высоко, но, потеряв силы, примостился где-то на скалах, – в подобных случаях человек всегда чувствует себя увереннее на твёрдом грунте, чем на обманчивом скользком снегу. Наши забрали с собой академик уже на возвратном пути. Его отсидка среди шайтанских камней принесла, между прочим, ещё одну загадочную находку: барон подобрал буквально у себя под ногами обрывок толстой бронзовой цепи, неизвестно откуда здесь взявшейся.

Наверху всё предстало таким, как о том ранее поведал Даут. Тут же из досок догадались соорудить крест, накрепко связав их и зарыв нижний конец глубоко в рыхлый фирн. Подножие обложили камнями покрупнее. Ниже перекрестья приколотили, наконец, свинцовую пластину; на вершину горы её попеременно тащили на себе то хорунжий, то его урядник.

Все пятеро, кто был там тогда, признавались впоследствии, что их внезапно охватило какое-то необыкновенное, необъяснимое чувство: радость, блаженство, забвение всего земного; мысли налетали одна на другую, и голова кружилась от восторга; никто из них никогда: ни раньше, ни позже не пережил ничего подобного. Эберлинг обнял и расцеловал Даута, в этот счастливый миг они все были как братья. Прокричав троекратное «виват», начали спуск.

Степан, пока другие поднимались и спускались с горы, вокруг Шайтана, конечно, не обошёл и обойти, разумеется, не мог. Такая «шатунская кругосветка», как теперь о ней говорят, занимает несколько дней и требует хорошей подготовки: знания маршрута, наличия горного снаряжения и навыков движения в подобной местности. Наш военный топограф с большим трудом забрался только в соседнее ущелье и с ещё большим трудом выбрался оттуда назад. Слушая его рассказ, Даут согласно кивал головой и несколько раз произнёс загадочное слово *азану*.

– Не ходи туда, – перевел Краснощёков и пояснил, что так говорят об ущелье, в верховьях кото-

рого нет перевала. И, сделав на немцев страшные глаза, добавил: – Яман будет твоя башка.

С помощью своей обскуры Степан снял несколько видов и потом, уже на досуге в Водогорске, великолепно их отделил, изобразив на переднем плане и капитана, и всех академиков, и даже, кажется, Даута в бурке и мохнатой шапке. Все эти рисунки впоследствии, стараниями Шульца, были выпущены в Мюнхене в виде альбома гравюр. Теперь это большая редкость, и экземпляр такого альбома найдется разве что в Эрмитаже, мне же удалось достать только пару слабеньких фотокопий.

Шульц, кстати сказать, оказался самым толковым из всех прочих. У подножия Шайтана он успел собрать прекрасную коллекцию минералов, открыл месторождение марганца и уверял всех, что недра горы содержат несметные богатства и потомки будут щедро вознаграждены, если приложат усилия к тому, чтобы их добыть. Его предсказания вполне оправдались, в ущелье Уллу-Дарьи ещё до войны был построен огромный комбинат, выплавлявший свинец, цинк и даже, кажется, серебро. Поговаривали было, уже в послевоенные годы, и об урановой руде, обнаруженной где-то здесь немецкими спецами, но как-то с оглядкой – вопрос это секретный, а потому и опасный. Люди, причастные к делу, могли сообщить вам вполголоса, что добывали на Шайтане *уголёк*, и не более того. О Шульце никто давно уже не вспоминает, а вот тропа, проложенная

Степаном туда, куда ходить не надо, и по сей день именуется перевалом Чичагова.

Рука истории прихотлива: одни имена она бережно хранит в своей копилке, другие безжалостно отбрасывает прочь. Было бы по делам и заслугам – тогда понятно, однако причины такого выбора не всегда очевидны.

Ни наш лихой разведчик Краснощёков, ни главный герой всей эпопеи Даут Даутоков не удостоились, например, оставить свои имена на карте, а вот несчастная морена на склоне, где приходил в чувство запыхавшийся петербургский академик, и по сей день гордо именуется скалами Штольца. Никто не догадался назвать именем Морица хотя бы скромный переулочек в Водогорске, зато площадка у подножия Шатуна, где отряд простоял лагерем всего-то несколько дней, до сих пор всем известна как поляна Эберлинга.

Что касается Даута, то настоящая слава пришла к нему только в советские годы. Эберлинг, разумеется, сделал в своё время всё, что мог: выхлопотал для него серебряную медаль с полумесяцем, учреждённую правительством для поощрения мирных горцев, и от себя лично вручил ещё ассигнацию достоинством в сто рублей, так называемую «катеньку» с портретом императрицы.

Потом, само собой, всё стало забываться, и лавры первовосходителя Шатун-горы присвоил себе не то заезжий англичанин Фрешвилл, не то швейцарец Левенштерн. Мириться с таким

нахальным самозахватом большевики не собирались. Правда, всех белогвардейцев, вроде генерала Эберлинга и войскового старшины Краснощёкова, хорошенько затушевали, и на первый план как раз и выдвинулся скромный горский крестьянин-труженик. Так совпало, что кампания по выдвижению нацкадров была на подъёме; во всех караулакских школах появились его портреты, которых при жизни Даута никто, разумеется, с него не писал, разве что Степан с помощью камеры-обскуры, но от этой мохнатой фигурки на клейме гравюры толку было мало. Так что портреты Даута представляли собой, что называется, историческую реконструкцию и мало походили один на другой.

Потом, ещё в довоенные годы, в районном центре Кара-Кулаке поставили памятник, изображавший Даута в бурке и с головой, закутанной в башлык. Он шёл, опираясь правой рукой на альпеншток, а точнее, на обыкновенную буковую палку, из-за которой в партийных инстанциях разгорелся скандал. Дело в том, что палка больше напоминала посох и тем самым наводила на мысль не о восхождении на вершину Шатун-горы, а, скорее всего, о паломничестве к святым местам. Палку аккуратно изъяли, оставив Даута с призывно поднятой правой рукой, зовущей всех советских трудящихся повторить его незабываемый подвиг.

Но этим, впрочем, дело не кончилось. Мало того, что памятник теперь странновато напоминал своей выкинутой вперёд рукой совсем другую

сакральную фигуру, обладавшую монополией на этот вдохновенный жест. В довершение всего, в освободившуюся от палки правую руку Даута кто-то неизвестный (вероятно, какой-нибудь завистливый карагулак) злонамеренно вставил бараний рог, символ винопития, хотя всем хорошо известно, что ни те, ни другие («уши» или «пятки») никаких пьянящих напитков, кроме слабоградусного айрана, никогда не употребляли.

Начальство поморщилось и велело как-нибудь вопрос решить. Так что, начав свое великое восхождение ещё при жизни, Даут не смог остановиться даже после смерти. Когда волна с нацкадрами пошла на убыль, памятник перенесли сначала в его родной аул Эль-Тюбе, а потом задвинули ещё дальше – на поляну Эберлинга, к самому подножию Шатуна. Надо признать, что горный ландшафт послужил для памятника более естественным фоном, чем пыльная площадь в Кара-Кулаке: так и кажется, что бронзовый Даут вот-вот стронется с пьедестала и вновь направит шаги вверх по склону – в третий раз покорять своего Шайтана.

Случай с блуждающим Даутом показателен в том смысле, что памятники, как и живые люди, имеют свою судьбу. Одни стоят как вкопанные там, куда их когда-то поставили, другие путешествуют с места на место, а третьи вовсе исчезают с лица земли. Я думаю, это связано с тем, как меняются (или не меняются) представления людей о своём прошлом. В истории Водогорска существует ещё более удивительный пример того, каким

тернистым может оказаться путь бронзового изваяния к своему окончательному пьедесталу, о чём я ещё надеюсь рассказать моим читателям в следующих главах. Что же касается добытых во время похода реликвий, то есть деревяшки с просверленным отверстием и обрывка цепи, найденных бароном Штольцем высоко на скалах, то поначалу они хранились в особой комнате у капитана Эберлинга, а впоследствии поступили в городской краеведческий музей.

Дух странствий не давал покоя Морицу до самого конца. Он легко мог ввязаться в любую авантюру. Однажды уговорил Алексея Петровича отправить его на восточный берег Каспийского моря для переговоров с туземцами, которые и продержали страдальца почти год в глубокой вонючей яме. Бухарцы эти совсем уж вознамерились отрубить ему голову, но старший сын эмира, Абу-Али, умолил отца отпустить русского пленника восояси, а впоследствии, сам став эмиром, приезжал, по старой дружбе, к Эберлингу в Водогорск и даже выстроил здесь летнюю резиденцию, сказочный дворец в восточном стиле. Не кто иной, как Мориц, сопровождал в Персию нашу злополучную дипмиссию, чудом и тут уцелел, и после ужасного тегеранского погрома доставил тело несчастного Грибоедова в Тифлис. В Пятигорске он хоронил Лермонтова, воевал в Крыму и получил там английскую пулю в левое бедро, а в завершение всего, будучи в генеральских чинах, затеял экспедицию в загадочное пустынное Застолбье, откуда уже не вернулся никогда.

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

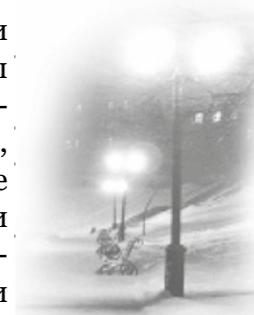
В минувшем году Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников в нашем регионе в годы Великой Отечественной войны. На суде были заслушаны показания свидетелей – потомков жителей края, в отношении которых совершены преступления против человечности. Суду были представлены видеоматериалы о зверствах, совершенных гитлеровцами на территории края, а также письменные архивные документы, которые составили 16 томов. В результате массовых убийств погибли тысячи человек. Имена многих из них до сих пор неизвестны.

На окраине села Безопасного стоит памятник с красной звездой. Было известно, что он установлен на месте реального захоронения евреев-беженцев,



**Алексей
КРУГОВ**

Краеведение



казнённых пособниками нацистов в 1942 году. До последнего времени на нём не было имён, однако есть надежда восстановить имена погибших.

В 1965 году на месте массового расстрела на окраине села был установлен безымянный обелиск с надписью: «Мир – ты самая верная верность... Всем погибшим друзьям на земле». На тот момент имена казнённых указаны не были. Лишь было известно, что всего казнили 170-180 человек.

В фондах музея села Безопасного Ставропольского края был случайно обнаружен пожелтевший от времени лист бумаги с записью, что летом 1967 года в сельсовет села Безопасного обратился участник Великой Отечественной войны, боевой офицер, орденосец Оверштейн Рафаил Хаимович. Он приехал из Донецка с целью разыскать места захоронения своих близких, казнённых нацистами в 1942 году. С ним тогда встретилась Мария Акимовна Русанова, заведовавшая в то время местным музеем. Она-то и оставила эту запись на листке. Нынешний директор местного музея Татьяна Александровна Плотникова узнала почерк Марии Акимовны.

По свидетельству Оверштейна, в годы войны в село Безопасное были эвакуированы 67 человек его земляков и родственников. Некоторые из них устроились работать уже в местном колхозе «Красный Октябрь». Все они были родом из села Приютного Гуляйпольского района Запорожской области Украины. Во время оккупации они были расстреляны нацистами на окраине села. Родственники офицера были в числе казнённых.

С июля 1941 года на территорию нашего края стали массово прибывать эвакуированные жители Молдавии, Украины, Белоруссии. В Ворошиловске (Ставрополе) был создан эвакуопункт. Беженцы нуждались в жилье, продовольствии, работе. К нам прибывали люди практически без имущества, брали с собой в дорогу лишь самое необходимое, да и то по минимуму.

К сожалению, еще в пути в тогдашний тыл люди гибли от обстрелов, бомбёжек и болезней. Но большинство, конечно, добиралось до относительно безопасных на тот момент районов.

Вот цифры, которые говорят сами за себя: осенью 1941 г. на Ставрополье числилось 218 тысяч эвакуированных. К началу следующего года 75% из них было размещено в сельской местности. И, конечно, их размещение и обустройство для местной власти было непростым. Вот лишь один из документов той поры: «Многие из эвакуированного населения не имеют у себя ни одежды, ни обуви, – сообщал первый секретарь Солдато-Александровского райкома партии Вытяжков. – Как быть с ними? Они ежедневно приходят со слезами и требуют оказать помощь». И аналогичная картина была практически во всех районах.

Особенно тяжелым выдалось лето 1942 года. В крае огромный наплыв беженцев. Эвакопункты переполнены. Сотням людей приходилось даже ночевать под открытым небом, благо лето выдалось жарким. Конечно же, случались вспышки инфекционных заболеваний, бытовые конфликты из-за общего нервного настроения. Жители

края помогали беженцам, чем могли, по-братски делили скудный тыловой паек, снабжали одеждой, предоставляли кров.

Жилищная проблема была самой болезненной. Она обострилась не только из-за прибытия большого количества беженцев. Надо было размещать воинские части, эвакуогоспитали. А потому «уплотняли мирное население»: селились в сараях, землянках – где придется.

Известно, что наш край принял у себя сотни ленинградских детей-сирот, прошедших невыносимые тяготы блокадной зимы. Ослабевших от голода и мечтавших только о куске хлеба. Чтобы спасти этих детей, их брали на воспитание в семьи колхозников, рабочих и служащих.

Тем временем враг приближался уже и к нашему краю. В августе 1942 года на Ставрополье появились гитлеровские войска. Об этом говорят документы: «Части немецкой армии появились на территории края 2 августа, – сообщал в докладной записке первый секретарь крайкома партии Михаил Суслов. – Продвижение войск противника почти не встречало сопротивления. Эвакуацию пришлось проводить на территории, оставленной нашей армией, без ее защиты».

Не только местным жителям, но и многим беженцам пришлось остаться на оккупированной территории.

Многих из них ожидала страшная судьба. Например, из акта Изобильненской чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) мы узнали такие шокирующие подробности: «23 августа 1942

года в с. Изобильном Ставропольского края немцы забрали евреев в машину, которая стояла на шоссе. В ней были: Галянская Хася (35 лет), эвакуированная из Днепропетровска и ее двое детей – восьми и двух лет, Гольденберг Фрида (34 года), и с ней мальчик десяти месяцев и мать-старуха. Маруся (30 лет), эвакуированная из Днепропетровска и с ней дочь (11 лет) и тётя, фамилия их неизвестна. Кроме них, в машине были еще восемь человек, фамилии которых остались неизвестными, машина направилась по шоссе к салотопке. Там их высадили, оттуда они не возвратились».

Также по свидетельству очевидцев, на глазах матерей их живых детей сбрасывали в глубокий колодец, потом взрослых закалывали штыками и отправляли туда же. О такой же чудовищной расправе над семьёй Эммы Коган рассказывал чудом спасшийся её сын.

Нацисты прибегали к распространению ложной информации об эвакуации, чтобы собрать людей и расстрелять. Так поступили, например, в Изобильненском районе. В конце сентября 1942 года эвакуированных из Украины евреев под видом отправки на работу сначала собрали в помещении средней школы станицы Новотроицкой. Затем 619 мужчин, женщин и детей были погружены в автомашины. На берегу реки Егорлык 27 сентября расстреляли часть из них – 242 человека. Однако и избежавшим смерти в тот раз пришлось пройти круги ада: сначала их увезли в станицу Новоалександровскую, где после пыток и издевательств тоже казнили. Были

и десятки других расправ над мирными жителями – жуткие казни и расстрелы. Ловили и допрашивали «виновных» в полиции, потом казнили. Расстрелы велись не только у противотанковых рвов или на «салотопке» – людей массово убивали и в самом селе. Например, на огороде местного жителя Петра Андреевича Кизима были расстреляны более тридцати человек.

Но фашистам были неудобны не только евреи. Они тотально вели зачистку душевнобольных людей. Лично меня буквально шокировали такие цифры: на оккупированных территориях СССР нацисты убили от 12 до 20 тысяч пациентов психиатрических клиник, в том числе более 1700 человек в регионах Северного Кавказа.

В карательных акциях принимали участие подразделения айнзацгруппы «D» (около 600 человек), полевой жандармерии, войска СС. Кроме того, в казнях принимали непосредственное участие и местные полицейские формирования, которые были практически в каждом населенном пункте. Общая численность полицеев на то время составляла около 1600 человек. Убийства неудобных местной власти, а в основном это были евреи-беженцы, нацисты и местные полицейские проводили в течение всего периода оккупации. Наиболее масштабные казни на территории края, согласно документам, состоялись в августе-сентябре 1942 года. Увы, о многом этом уже нынешние поколения стали забывать. Потому материалы о бесчинствах оккупантов, представленные в ЧГК, очень важны нам сегодня – когда в мире

поднимаются голоса, оправдывающие нацизм и эту человеконенавистническую идеологию.

В годы войны сотни тысяч семей оставались без мужчин-кормильцев. Весь нелегкий крестьянский труд лег на плечи женщин, детей и инвалидов. Ко всему прочему, из колхозов изъяли и отправили на фронт все исправные трактора и здоровых лошадей.

В своих воспоминаниях бывший председатель крайисполкома Иван Таранов писал: «В нашем колхозе им. Будённого Будённого района всю войну проработала женская тракторная бригада. У них был, скажу без преувеличения, нечеловеческий труд. Старая техника заводилась «с ручки», буквально изматывала трактористок – вчерашних школьниц. Девушки, помимо всего прочего, еще и голодали. Вспоминаю всех этих людей и горько сожалею: мало они прожили! Дядя Гриша не протянул и 50 лет, трактористки умерли в 38–40. Что поделаешь – война».

Во время посевной рабочий день начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, почти ночью. Но несмотря на все трудности, крестьянство бесперебойно снабжало город и армию сельскохозяйственной продукцией. Все работали безо всяких жалоб и поблажек, ради общего дела. Самим порой хлеба не хватало, в еду шла всякая мелкая птица и рыба. Вместо чая часто использовали листья черной смородины, сушеную морковь или степные травы. Зимой едва сводили концы с концами и откровенно голодали. Поэтому многие колхозники пытались обрабатывать небольшие огородики, чтобы кормить свою семью.

Алексей КОНДРАТЕНКО

СЛОВО О ВАСИЛИИ РОСЛЯКОВЕ

Трудно определить двумя-тремя словами значение этого писателя в литературной истории Советского Союза и России. Военный писатель? Да, несомненно, фронтовик и партизан, автор повестей и романов о войне... Мастер «городской прозы», «деревенщик»? И это вполне верно – есть рассказы в чеховской и бунинской традициях о москвичах (сборник «Московские повести»), есть сельские истории (на склоне лет купил избушку на Владимирщине, стал почти деревенским жителем, издал книгу «Добрая осень» о Ставрополе). Так, может быть, очеркист? В значительной степени, таков – автор множества очерков, за темами для них ездил



*Литературо-
ведение*



на Ангару к строителям Братской ГЭС, на КамАЗ, на прокладку газопровода Уренгой-Запад. А ещё поэт в юные годы, литературовед, преподаватель литинститута, член правления Союза писателей...

Студент, курсант, партизан

Это всё о нём – о Василии Петровиче Рослякове, о его многолетнем, каждодневном литературном труде, который стоит за названиями целой россыпи разножанровых произведений. Художник самобытный, со своим взглядом на самые разные жизненные явления и со своей свободной формой общения с читателем, он родился 17 марта 1921-го года в городе Святой Крест (ныне Будённовск Ставропольского края) в крестьянской семье (можно предположить, что появился на свет в селе Архангельское, но в документах всегда указывал Будённовск). В 1937-ом году вступил в комсомол, два года спустя, по окончании средней школы, поступил на литературный факультет Московского института философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского. Когда началась Великая Отечественная война, по призыву ЦК комсомола в августе 1941 года стал курсантом Подольского пехотного училища. Не с тех ли суровых дней его любимой песней стала «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»

В автобиографии он писал: «В составе училища с октября по декабрь 1941 года участвовал в боях против немецких захватчиков под Малоярославцем, где и попал в окружение. При выхо-

де из окружения на линии фронта был задержан немецкими войсками. По дороге в лагерь на второй день сбежал от немецкой охраны, пользуясь лесной местностью. После этого решил идти к Брянским лесам. В январе 1942 года вступил сначала в местную партизанскую группу самообороны, а затем в отряд «Смерть немецким оккупантам». Был рядовым партизаном, участвовал в операциях по взрыву железнодорожных мостов между Брянском и станцией Синезёрки, в боях с фашистами. С июля 1942 года – сотрудник газеты «Партизанская правда»».

Много лет спустя писатель Василий Росляков расскажет читателям о том, как новоиспечённый редактор Николай Коротков с нуля создавал боевой подпольный вестник: «Назначили его редактором, а типографии нет. До его родного Трубчевска далеко, и там были немцы, Суземка – под боком, к тому же очищена от оккупантов, стоял там отряд «За власть Советов», и Николай Петрович пошёл искать типографию в Суземку. Была пора половодья. Дороги развезло, Нерусса разлилась. Из Черни, где находился тогда штаб, Николай Петрович пошёл пешком. У железнодорожной станции по остаткам взорванного и рухнувшего в воду моста кое-как перебрался через речку – где по фермам, торчавшим из воды, где по пояс в бурлящей ледяной Неруссе. По шпалам добрался до Суземки. Немцы были выбиты отсюда, работал райком партии, работала Советская власть, в поселковом Совете по вечерам партизаны устраивали танцы. А типография была

разбомблена. На деревянное зданьице упала бомба крупного калибра, и типографию разнесло в щепки. Николая Петровича привел сюда секретарь райкома.

– Всё, что осталось, – сказал он.

Секретарь ушёл, а Николаю Петровичу идти было некуда. Он бродил вокруг развалин, досадовал, думал и не мог придумать, где теперь искать, куда ехать, ведь кроме Суземки, все остальные районные центры были под немцем. Ходил вокруг, думал. И вдруг под ногами, в песке, увидел кусочек металла, наклонился, поднял: лите-ра, буква»

Больше недели разбирал пепелище и развалины будущей редактор, собрал остатки типографии. Заодно нашёл старого однорукого печатника, двух девушек – в довоенное время учениц наборщика. А в корреспонденты определили Василия Рослякова. Почему именно его? Современный читатель автобиографии Рослякова, написанной в 1943 году, обязательно обратит внимание на почерк – аккуратный, мелкий и убористый. Абсолютно отсутствуют грамматические ошибки, текст написан тонким пёрышком, что было редкостью в военные годы. Конечно, человек с такими способностями и прилежанием обязательно должен был оказаться на примете у партизанского командования.

Комиссар одного из отрядов Антон Фёдоров вспоминал, что редактор Коротков был весёлым и добрым человеком: «Он сумел быстро сколотить

трудолюбивый и боевой коллектив редакции. Его корреспонденты непрерывно выезжали в партизанские отряды для получения новых материалов в газету. Сам Николай Петрович, несмотря на сложную боевую обстановку в партизанском крае, верхом на лошади скакал в партизанские отряды для проведения партийно-политической работы и ознакомления с положением дел на местах в отрядах. Он был не только редактором газеты, но и заместителем комиссара объединённых партизанских отрядов».

Примечательно, что в личном деле, хранящемся в бывшем Орловском партийном архиве, есть небольшой листок: «тов. Рослякова В.П. направить в распоряжение секретаря Навлинского РК ВКП(б) на должность зам. редактора районной газеты. 2.I.43 г.». Подпись можно разобрать с трудом, возможно, это решение подписал редактор «Партизанской правды» Коротков. Однако молодому партизану Рослякову в освобождённом от фашистов в марте 1943 года крае нашлась иная должность: до июня он работал заведующим районным отделом народного образования в Севске. С июля 1943 года – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Орловского обкома ВЛКСМ (в Ельце, а затем в Орле). Центральным штабом партизанского движения в сентябре 1943 года был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

В характеристике, подписанной секретарём Орловского обкома ВЛКСМ Цыганковым, отмеча-

лось: «За время работы в аппарате обкома ВЛКСМ в должности заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации по тылу врага с июня по декабрь 1943 года показал себя активным, добросовестным, дисциплинированным, политически грамотным, морально выдержанным комсомольским работником. Имея опыт партизанской борьбы, тов. Росляков уделяет много внимания работе комсомольских организаций в партизанских отрядах. Активно принимал участие в выпуске листовок для тыла [т.е. оккупированной территории]. Им лично была написана брошюра о герое-комсомольце Владимире Рябок».

В литературном Орле, в редакции...

Литературные способности молодого комсомольского работника стали определяющими в его дальнейшей судьбе. Кому, как не недавнему завроно и партизанскому журналисту, в освобождённом Орле предложить написать заметку о первом учебном дне? 3 октября 1943 года (учебный год тогда начался 1 октября) он рассказывал читателям «Орловской правды»: «В вестибюле 26-й средней школы Орла висит лозунг «Добро пожаловать!». Тепло и приветливо встречают детей родные классы. Стены украшены лозунгами. Они напоминают ребятам об их долге перед Родиной – отлично учиться.

Звонок – и дети, выстроившись в своих классах, организовано выходят в зал на торжественное собрание.

...Учительница литературы Мария Ивановна Литвинцева начинает свой первый урок в 8-м классе с беседы.

– Помните, ребята, – говорит она, – что победа далась нелегко. Отвоевывая вам право учиться, жить свободными, ваши отцы и старшие братья не жалели жизни. Учитесь так, чтобы вырасти их достойной сменой».

Уже в декабре 1943 года Росляков был назначен на должность технического редактора Орловского книжного издательства. Через месяц стал заведовать только что созданным в «Орловской правде» отделом культуры и быта (одновременно, по сведениям на февраль 1944 года, являлся военным корреспондентом редакции).

Талантливый прозаик, а в годы войны журналист «Орловской правды», Евгений Горбов вспоминал: «В те дни наша редакция пополнилась ещё двумя работниками. Это были молодые ребята двадцати двух — двадцати трёх лет. Оба приехали из Брянских лесов, оба были партизанами и оба имели склонность к литературе. Николай Прохоров писал прозу, Василий Росляков – стихи. С их приходом наши литераторы ещё более оживились, и в самой редакции появилось творческое ядро».

В ноябре 1943 года в редакции «Орловской правды» состоялось несколько собраний литературной группы. Произошло это по инициативе поэтессы Елены Благиной, специально приехавшей в освобождённый Орёл по направлению Союза писателей СССР. На собраниях обсужда-

лись произведения местных литераторов, лучшие рекомендовались для издания. Такие собрания были традиционными и после отъезда Елены Благиной из Орла, свидетельством чему – напечатанная в «Орловской правде» 6 апреля 1944 года заметка «На очередной литературной “среде”»: «Обсуждена поэма лауреата Сталинской премии Александра Твардовского «Василий Тёркин». Артист художественного коллектива орловских партизан тов. Мышелов прочёл стихи А. Твардовского и М. Алигер. На литературной “среде” присутствовали партийные и комсомольские работники, учителя, врачи, учащиеся».

Общий интерес к литературе сблизил Рослякова не только с Николаем Прохоровым, но и положил начало дружбе с другим недавним бойцом партизанского отряда, а тогда журналистом «Орловской правды» Юрием Когинным. В свободный час они вместе ходили по улицам разрушенного Орла, мечтали о будущем, говорили о том, как станут авторами книг... Как рассказывал их приятель тех лет, тоже комсомольский работник Александр Гаврилович Курдюмов (с ним автору этих строк удалось детально поговорить по телефону в мае 2006 года), у двух журналистов в 1944 году было отличное настроение. Бесконечные журналистские командировки, сбор информации, работа над статьями...

Евгений Горбов вспоминал два десятилетия спустя жизнелюбие и жизненную хватку Рослякова, его юношеский азарт, неперебродивший молодой хмель:

«В ту зиму [1943–1944 гг.] я довольно близко сошёлся с нашим новым сотрудником – бывшим партизаном Василием Росляковым. Инициатива, пожалуй, исходила от него. Однажды он долго сидел над газетой, где был напечатан один из моих очерков, затем поднял голову и вдруг сказал:

– Ты, Горбов, пишешь так, что при чтении твоих очерков кажется, будто читаешь книгу...

Я посмотрел на него: нет, не шутит. Напротив, его лицо и голос были проникнуты почтительным удивлением, и эту фразу надо было принимать как комплимент. Очевидно, Росляков хотел принести мне – автору нескольких повестей и рассказов – дань бескорыстного уважения. Я не особенно высоко ценил свой газетный очерк, однако возражать не стал. Пусть хвалит, если ему хочется.

Росляков был строен и смазлив. В его смуглом худощавом лице с размётанными бровями, с прямым, тонко очерченным носом и твёрдо сжатыми, как бы капризными губами, в пышном ворохе его сухих, чёрных, слегка вьющихся волос было что-то южное, экзотическое, придававшее ему сходство не то с цыганом, не то с жителем кавказских гор. Это сходство усиливали выразительные бархатистые глаза. Они могли быть равнодушными, холодными, даже злыми, но если Рослякову что-либо нравилось или он хотел понравиться сам, глаза эти становились необыкновенно ласковыми, нежно-преданными и просились прямо в душу. Когда я смотрел на него со стороны, в его гибкой, подвижной фигуре мне

всегда чудились игривость беззаботного котёнка и охотничья упругость рыси.

Росляков умел необыкновенно быстро сходиться с людьми. С мужчинами он был дружелюбно прост, с женщинами – рыцарски галантен. Можно было позавидовать лёгкости, с которой он завязывал знакомства и заводил разговоры с любым новым человеком. Так же легко и просто ладил он со всеми сотрудниками и с начальством... Эта счастливая черта характера помогала ему обходить многие препятствия и избегать лишних недоразумений. Материалы его шли в газету почти без задержки.

Я не помню случая, когда бы Росляков затеял крупный разговор или ссору с сослуживцами. Были, правда, небольшие исключения. Однажды он отнёс на машинку свою статью, и когда через час или два пришёл за нею, оказалось, что она ещё не отпечатана. Старушка-машинистка смущённо перетряхнула всю папку: статья лежала внизу.

– Ну, что-о-о это?.. – начал Росляков.

Голос его как-то сухо заскрипел, лицо странно изменилось. Брови поползли к переносице, нос прогнулся, рот сложился подковой, и углы его угрожающе опустились вниз. Казалось, сейчас грянет буря. Но тут Росляков, оглянувшись, увидел, что он не один в комнате, и его лицо сразу приняло обычное выражение. Он только положил статью поверх других материалов, хлопнул по ней ладонью и отрывисто сказал:

– Сделайте это срочно...

Через минуту он был таким же общительным и дружелюбным, как всегда».

Горбову запомнилось, как их вдвоём в феврале 1944 года отправили в недельную командировку по районам Брянщины (до июля того года они входили в состав Орловской области). Приехали и морозным утром зашли на рынок, чтобы купить хоть что-то съестное. Нашлась только каша в жестяных мисках:

«– Пробирает... – сказал я, смахивая слезинку.

Росляков взглянул на меня с комическим отчаянием и вдруг ударился в настоящий пляс. Он выкидывал вперёд колени, поддёргивал плечами, отбивал чечётку, подпрыгивал; миска в его руке то взлетала выше головы, то опять оказывалась возле рта. Это было похоже на испанскую пляску. Я посмотрел на Рослякова и стал проделывать то же самое. Так мы плясали, не переставая выгребать свои миски, ветер раздувал полы наших гремучих тулупчиков, а бабы смотрели на нас, выпячивая мощные животы, одобрительно приговаривая:

– Кушайте, мальчики, кушайте...

Помнит ли, как мы рыскали по суровой Брянщине, заходили в райкомы и сельсоветы, в школы и клубы, сидели на колхозных собраниях и на вечерах художественной самодеятельности, заглядывали в жестяночные, валяльные и деревообделочные мастерские. Наши блокноты без дела не лежали. В них появлялись всё новые и новые записи о немецких зверствах, о подвигах партизан, о том, как люди вчерашнего подполья, выйдя из лесных землянок, с первого дня начали

налаживать своё хозяйство, учить детей, делать ведра, сани, сапоги и лопаты.

В те дни я по-настоящему оценил своего спутника, его расторопность, смекалку, весёлый и пробойный характер. Росляков не любил теряться и быть в дураках. Если можно было, он действовал улыбкой и уговором, нельзя – угрожающе сводил брови и шёл напролом. С ним легко было переносить все невзгоды нашей поездки».

Вполне возможно, что удалство Василия Рослякова было наследственной чертой. Пока он партизанил, а потом работал в газете фронтовой области, немало отличился на фронте и его отец, гвардии старшина Пётр Росляков. На войну ушёл в августе 1941 года, награждён медалью «За оборону Сталинграда». Будучи по должности старшиной 1-го батальона 294-го гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт), на общественных началах был ещё и парторгом роты. 25-го августа 1944 года в бою на правом берегу Вислы уничтожил более десяти фашистов. Как отмечалось в наградном листе, всегда беспребойно обеспечивал подразделение питанием и боеприпасами. Наградили его и орденом Красной Звезды: «В период боёв за плацдарм на западном берегу реки Одер с 26 января по 5 февраля 1945 года в трудных условиях переправы полностью обеспечил роту доставкой боеприпасов и продовольствия... Как парторг 29 января 1945 года повёл роту в атаку, первым ворвался на окраину города Олау и закрепился на верхних этажах

домов, откуда открыл по противнику шквальный огонь. При очистке города с группой бойцов лично захватил 15 пленных». Затем был награждён вторым орденом Красной Звезды.

Такой же наградой вскоре отметили и сына: **в августе 1946 года** указом Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, Василий был награждён орденом Красной Звезды. В Орле журналист-орденоносец чувствовал себя уверенно: ему выделили жильё по адресу: ул. Розы Люксембург, дом 49 (здание до наших дней не сохранилось), в апреле 1944 года Заводским райкомом был принят кандидатом в члены ВКП(б), спустя год получил партбилет. В зимнее время любимым занятием молодого журналиста было катание на коньках, летом – плавание, гимнастика.

Публикации Рослякова на страницах областной газеты были посвящены теме восстановления: открывались школы и клубы, больницы, библиотеки и музеи, люди стремились в творчестве выразить трагизм и героизм войны. Сам Росляков не без успеха пробовал силы в поэзии: в «Орловской правде» было напечатано три десятка его стихотворений, многие потом вошли в местный литературный альманах и коллективные сборники, по большому счёту, в итоге могла бы получиться небольшая авторская поэтическая книжка. Несмотря на открывавшиеся перспективы творческого роста, свою работу в редакции

областной газеты Росляков рассматривал как временное дело. Тем более, что в обкоме комсомола его кандидатуру выдвинули на учёбу в Москву.

Постановление подписал секретарь обкома комсомола Зайчиков, был подготовлен проект соответствующего решения бюро обкома ВКП(б). Однако решение сектора партийных кадров оказалось отрицательным, о чём свидетельствует рукописная справка за подписью заведующего этим сектором «Кандидатура тов. Рослякова В.П. на курсы газетных работников отклонена. 23.VI.44 г.»

Почему партийное руководство не одобрило стремление комсомольских обкомовцев отправить молодого журналиста в Москву? Вряд ли за этим стояли какие-либо идеологические претензии. Скорее, просто не хотели отпускать (даже на полгода) достаточно умелого и подготовленного газетного сотрудника. Тем более, что уже в конце декабря 1945 года бюро Орловского обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о создании бюро областной литературной группы. Благоволил Рослякову и редактор газеты Иван Батов, о чём свидетельствовал, например, приказ по «Орловской правде» № 65 от 13 ноября 1945 года: «За добросовестную работу по организации материалов в праздничные номера газеты объявляю тов. Рослякову благодарность и приказываю по номеру за 7 ноября за очерк «Радость колхозной жизни» выдать по конкурсу сверх гонорара 550 рублей».

Исследователь публицистики

Однако в душе недоучившегося студента всегда была сильна тяга к учёбе. Так как ИФЛИ ещё осенью 1941 года вошёл в состав Московского университета имени М.В. Ломоносова, Росляков при первой возможности восстанавливается в МГУ. Поначалу он жил на два города: учёба в столице чередовалась с работой в «Орловской правде». На каникулах Росляков непременно трудился в редакции, летом 1947 года исполнял обязанности ответственного секретаря. Но вернуться с дипломом на высокий пост в «Орловскую правду» ему уже не было суждено. В августе 1947 года Батов издал приказ № 73: Росляков, «давший нечёткий макет для вёрстки», был освобождён от работы. Далее в тексте приказа следовала крайне жёсткая, детальная инструкция на будущее о том, как предотвратить ошибки в газете.

С этого времени все силы Рослякова были сосредоточены на учёбе и науке. В 1950 году он успешно оканчивает филологический факультет, в 1954 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Советский послевоенный художественный очерк». Спустя два года в издательстве «Советский писатель» выходит в свет его книга «Советский послевоенный очерк». Монография принесла автору признание и широкую известность (книга была и первой на такую тему, рецензентами рукописи выступили писатели Мариэтта Шагинян и Леонид Кудреватых). Так, например, автор рецензии в воронежском журнале «Подъ-

ём», будущий профессор Борис Удодов отмечал: «В настоящее время, когда вопросы теории социалистического реализма, проблемы закономерностей развития литературных жанров и стилей, а также связи литературы с жизнью приобретают первостепенное значение, необходимость в обобщающих работах по художественному очерку особенно очевидна. Одной из первых попыток такого обобщения является книга В. Рослякова “Советский послевоенный очерк”». Рецензент высоко оценил также «содержательно написанное введение к книге», «целый ряд верных наблюдений о характере типизации в различных видах очерка».

В чём заключались особенности первой книги Рослякова? В ней, на мой взгляд, чрезмерная вступительная часть – об очерках первых советских десятилетий и периода войны. Причём текст – не просто адаптированная под книжный формат недавно защищённая диссертация по теме, но и осмысление массы новых фактов 1953–1955 годов. Более того, затронуты вопросы разоблачения культа личности (хотя рукопись была сдана в набор 23 августа 1956 года, а подписана к печати в декабре того же года).

Оттепельное «раскрепощение» публицистики захватило внимание Рослякова – после появления «Районных будней» Валентина Овечкина невозможно было говорить о прежнем состоянии очерка. Книга Рослякова – попытка «догнать» реальную жизнь, резко шагнувшую вперёд после смерти Сталина.

Росляков тоже делает свой текст более динамичным. Общие рассуждения о природе жанра выносит в последнюю главу, нарушая таким образом научную традицию. Ставит на первое место боевой советский очерк, требуя, чтобы современная публицистика была ему под стать. Круг авторов анализируемых публикаций исключительно широк: А. Серафимович, М. Горький, П. Павленко, М. Шагинян, А. Фадеев, А. Толстой, М. Шолохов, В. Фоменко, Б. Полевой, В. Тендряков, С. Залыгин.

Рассмотрение теоретических вопросов жанровой природы – как бы смягчающая подушка, успокаивающая читателя после довольно болезненных наблюдений и обобщений очерка позднесталинской эпохи. Поэтому обзорную часть монографии Росляков ставит вместо заключения. И это тоже сигнал вдумчивому читателю – ситуации в развитии, невозможно подвести итоги. По идее, они должны были быть подведены несколько лет спустя, но вторая книга Рослякова об очерке по неизвестным нам причинам так и не появилась.

Книга сразу поставила его в ряд наиболее крупных исследователей отечественной публицистики (кстати, сразу после её выхода в свет Росляков был приглашён на работу в выпускавшее её издательство «Советский писатель»). Ему прочили научную карьеру: казалось, рукой подать до защиты докторской диссертации и должности профессора МГУ. Но замысел монографии был с подвохом – давая оценку старшим коллегам по

писательскому цеху, сам, ещё не будучи членом Союза писателей, Росляков немало рисковал. В будущем молодая самонадеянность могла отозваться серьёзными конфликтами и проблемами.

Росляков сделал мощный шаг вперёд, но в то же время как бы оторвался от своего круга начинающих писателей, завис в пустоте. Каким мог стать следующий шаг? Новая научная монография? Сборник стихов? Первая книга прозы? Или мерная работа на ниве публицистики – серии очерков о провинции, например, об Орловской области или Ставрополье? Страна бурлила, ей было не до проблем творческого роста отдельного писателя, не до его будущего самоопределения.

Глядя из свершившегося будущего, мы видим, что Росляков не потерялся в этом потоке. Но, думается, многое не осуществилось, истратилось в пути. Кем в итоге стал сам он? Поэтом? Критиком? Историком литературы? Преподавателем? Всё, кажется, раздробилось, не получилось эффекта синэргии – усиления одной части за счёт соединения с другой. Почему так и не появилась мемуарная проза Рослякова о послевоенной Орловщине, о работе в «Орловской правде» и первых литературных опытах в Орле? Вопрос «зачем» оставался без ответа там, где не было ответа на куда более сложные вопросы жизни и творчества.

Начав как журналист, поэт и литературный критик (в 1958 году его принимают в Союз писателей СССР), Росляков в зрелые годы стал писать прозу. Как бы случайно, без предварительной

договорённости принёс в редакцию журнала «Новый мир» рукопись своей первой повести – повести о войне, лиричной, нежной и столь трагичной в финале.

Рукопись попала на глаза главному редактору Твардовскому. Тот сразу отдал её в набор, отметив всего несколько погрешностей и попросив сменить вычурное название на что-то простое и точное. Так появилось заглавие «Один из нас»...

Правдивое повествование о первом, самом трагическом периоде Великой Отечественной войны вызвало большой интерес: повесть выходит во 2-м номере журнала «Новый мир» за 1962 год и вскоре – отдельным изданием, затем несколько раз переиздаётся. Рослякову предлагают сделать на её основе киносценарий. Задача оказывается не из простых – ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось четыре (!) варианта сценария «Первый снег».

В основе фильма, посвящённого поэтам, не вернувшимся с войны, – подлинные события из биографии самого Рослякова. Режиссёрами фильма «Первый снег», снятого на киностудии имени М. Горького, были Борис Григорьев и Юрий Швырёв, оператором – Пётр Катаев, музыку написал Владимир Рубин. Актёры Родион Нахапетов, Алексей Локтев, Жанна Прохоренко, Валерий Носик, Михаил Глузский. Премьера состоялась ровно через неделю после того, как страна впервые широко и торжественно отпраздновала юбилей Великой Победы, – 16 мая 1965 года.

Орловские силуэты

Ставрополец по рождению, Росляков считал Орловщину своей второй малой родиной. Да, у него, уже давно столичного жителя, не осталось здесь родных людей, но были друзья и близкие товарищи. В редакции «Орловской правды» трудились однокашники по ИФЛИ Владимир Комов и Анатолий Яновский. Ещё одни ифлиец, Леонид Афонин, стал известным литературоведом и историком литературы, одним из первых в Орле членов Союза писателей СССР, директором музея И.С. Тургенева, заведующим кафедрой литературы пединститута.

Но, пожалуй, самым близким другом Рослякова в Орле ещё с военных лет оставался Евгений Горбов. Они вели переписку, Росляков многократно отзывался рецензиями на новинки Горбова, например, писал в журнале «Вопросы литературы» в 1958 году: «Перед нами своеобразный, тонкий художник, со своим видением мира и со своей темой... Значение книг Е. Горбова, живые истоки которых – в тихих улочках городской окраины, не ограничивается масштабами этой окраины. Большой и нужный людям смысл, заложенный в них (повести и романы от «Куриной слепоты» до «Дома под тополями» – А.К.), ставит эти книги рядом с теми, что по праву занимают место на полках нашей “большой” литературы».

Более того, Росляков планировал написать брошюру о своём орловском друге для издательства «Советская Россия», даже запрашивал для

этого у Горбова биографическую справку и копии писем к нему знаменитостей.

В архиве сохранилась подборка телеграмм и писем к юбилеям Горбова, были поздравления к датам родной «Орловской правды». Удивительно схожи почерки Горбова и Рослякова (вплоть до размера букв, интервала между строками). Но письма их друг другу смотрятся всё-таки довольно формальными, прочной канвы переписки не складывалось: лишь старая дружба авторов посланий и не более того. Горбов искал у Рослякова поддержки и защиты (столичный писатель!) в бесконечных недружелюбных дебатах вокруг рукописей. А Горбов был нужен Рослякову как подсказчик для ориентации в орловской литературно-административной среде. Возможно, Росляков собирал материал для будущей автобиографической книги.

Орловщина так или иначе присутствует во многих книгах Рослякова и его публикациях в периодике. Так, летом 1954 года он напечатал в газете «Орловский комсомолец» репортаж «В павильоне ЦЧО» (это была часть тематической страницы «Школа передового опыта» с ВДНХ). Как странно и выпендрено звучит финал репортажа, даже не верится, что эти строки принадлежат перу такого искреннего и вольнолюбивого писателя: «Какой великой школой для тружеников сельского хозяйства станет эта выставка. Здесь щедро представлены плоды социалистической деревни, здесь можно увидеть науку и технику наших колхозов и совхозов, их неисчерпае-

мые возможности к дальнейшему расцвету; здесь как бы собраны воедино воля и разум работников социалистических полей, сосредоточен в огромных масштабах научный и практический опыт строительства коммунизма».

Росляков побывал на Орловщине в 1959 году, о чём опубликовал путевые заметки в «Орловской правде». Спустя четыре года в издательстве «Советская Россия» вышла повесть Рослякова «Обыкновенная история», где был нарисован образ скромной и мужественной девушки Лены Гордеевой, которая живёт в Орле на одной из Пушкарных улиц. В октябре 1963 года в трёх номерах «Орловской правды» был напечатан рассказ Рослякова «Человек с острова Аксай» – как будто выхваченный фотовспышкой яркий момент авантюрной хрущёвской поры.

Особенно пронзительно трогает орловская тема в рассказе «Последняя ложь». Фабула, на первый взгляд, не нова – накануне смерти главный герой Александр Иванович вспоминает прожитую жизнь. Однако обозначенный Росляковым конфликт был исключительно дерзок для прозы советского времени: старик вдруг понимает, что в нём все эти годы жило как бы два человека. Одни – ярый рубака, сельский бунтарь и селькор-правдоискатель, а другой – старший редактор издательства, участник войны, награждённый орденами и медалями, член профкома и прочее, и прочее – вечный приспособленец, конформист, «только прикидывавшийся живым и настоящим».

Так описан ключевой эпизод: «Мужик поднялся в нем, давний, молодой орловский мужик, из-под Русского Брода. Он лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами, и нигде ему не было больно, и не слышал он своего сердца, поэтому вдруг показалось, что ничего этого нет, никакой больницы, никакого ожидания, а есть блаженно присмиривший, полный сил молодой мужик из-под Русского Брода. Но вот оно опять споткнулось, и Александр Иванович сразу вспомнил, что умирает. Твою богородицу... Слабенько стонала в нем матерщина. А ведь тогда, под Русским Бродом, не было в нем этого, нынешнего, он был цельным, не раздвоенным. Самоотверженно боролся с кулачеством как с классом, писал заметки в уездную и даже в губернскую печать, и псевдоним у него был – Фридрих Энгельс. На селе с мужиками, дома, в комсомольской ячейке – везде говорил одно, верил в одно и даже во сне верил в то же, во что верил и не во сне, ненавидел больше всего двурушников, врагов народа, которые говорили одно, а думали и старались делать другое. И вот докатился, дожил. Два теперь человека в нем, он теперь двуликий». Определение «орловский» в этом контексте – значит настоящий, верный. Как противоположность «московский» – ненастоящий, подставной. Не случайно, Рослякову всегда были близки слова Лермонтова: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». И, действительно, за судьбами героев писателя вставала большая народная судьба...

В числе написанного Росляковым выделяется и роман «Последняя война». Писатель и литературный критик А.И. Кондратович назвал эпопею «панорамным произведением, обнимающим историю партизанского движения на Брянщине».

А вот мнение писателя Александра Рекемчука: «Россыпь событий в «Последней войне» такова, что многие из них могли бы стать основой самостоятельного развёрнутого произведения... Выбранный автором метод повествования определил его густую «населённость» персонажами, которые, появляясь в романе ненадолго, запоминаются благодаря чёткости психологических характеристик».

Время итогов

Ставропольский писатель Василий Грязев вспоминал о Рослякове так: «Душа нараспашку, любовь к цветным рубашкам, юмор, умение разговаривать любого молчуна, а иногда некоторая расхристанность, что ли. За все годы нашего знакомства я никогда не видел на нём галстука».

Невзирая на обстоятельства и невзгоды, он всегда был оптимистом, всегда воодушевлял друзей и младших товарищей по перу: «Будем жить долго, писать будем лучше». А ведь, кроме собственно творчества, множество сил писателя было затрачено на выполнение общественных нагрузок, редактирование, преподавание, переводы.

Он переводил на русский язык произведения прозаиков Эстонии, Молдавии, Абхазии, Туркмени, Киргизии. Выступал в качестве рецензен-

та рукописей прозы, преподавал на факультете журналистики МГУ, в конце 1970-х годов вёл семинар в Литинституте. Был членом правления Союза писателей РСФСР с 1975 по 1990 год.

Одно из важнейших дел последних лет жизни – участие в редакционной коллегии такого масштабного проекта, как издание Библиотеки русской художественной публицистики. Более 30 сборников классиков российской литературы вышли в издательстве «Советская Россия» в 1980-е годы.

В послевоенные годы литературный труд Рослякова, его ратные заслуги были оценены высоко. Помимо наград 1943–1946 годов, он был удостоен орденов Отечественной войны II степени (1985), Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов. В 1983 году ему была присуждена премия ВЦСПС (Всесоюзный совет профсоюзов) и Союза писателей СССР¹.

Умер Василий Петрович Росляков 1 декабря 1991 года в Москве.

В плеяде авторов художественных произведений о Великой Отечественной войне имя Рослякова вряд ли можно отнести к числу наиболее известных. Однако эта «забывчивость» не делает чести тем, кто составляет рекомендательные списки и готовит тематические литературные обзоры.

Поразительно, но факт: за минувшие три десятилетия после смерти писателя его произведения ни разу не выходили отдельными изданиями. В какой-то мере читательский интерес ныне могут удовлетворить электронные тексты, размещённые на ряде сайтов в Интернете. Ставропольским краевым отделением Союза писателей России совместно с администрацией города Будённовска учреждена литературная премия имени Василия Рослякова.

Но, наверное, потомки могли бы сделать ещё многое для увековечения памяти этого незаурядного писателя на Ставрополье, для переиздания его лучших книг.

Литературное Ставрополье

Альманах № 2 (2024)

Отпечатано в ООО «Славянская Типография»
Воронеж, пр-т Труда, д. 46д, помещ. 1, ком. 1

Подписано в печать 31.07.2024
Тираж 1000 экз. Заказ № 2404566